

Константин Арбенин



Константин Арбенин
Иван, Кощеев сын

«Геликон Плюс»

2010

Арбенин К. Ю.

Иван, Кощеев сын / К. Ю. Арбенин — «Геликон Плюс», 2010

Роман-сказка «не только для взрослых», настоящая книга для семейного чтения. Иван отправляется «за смертью» по просьбе своего отца, Кощея Бессмертного. По пути обретает друга и невесту, спасает некоторое количество персонажей и целое государство впридачу, но попадает в плен... В сказке полно чудес, парадоксов, иронии и даже занимательной прикладной философии.

© Арбенин К. Ю., 2010

© Геликон Плюс, 2010

Содержание

Пролог	6
Часть первая	10
1. Кощей Бессмертный	11
2. Иван, Кощеев сын	14
3. Марья-Выдумщица	18
4. Заколдованный колодец	20
5. Яга Васильевна	22
6. Путь-дорога	29
7. Прологомены Кота Учёного	33
8. Верхом на сером волке	36
9. Царь зверей, да не лев	38
10. Тигран Горыныч и Горшения-мужик	43
11. Лесная баня	47
12. Царский завтрак	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Константин Арбенин

Иван, Кощеев сын

© Арбенин К., текст, 2013

© «Геликон Плюс», макет, 2013

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Пролог

Свадьбу Кошей Бессмертный и Марья-Выдумщица решили не афишировать и справить тихо, в компании самых близких друзей и родственников. Ведь неизвестно, как отнесётся мир к такому браку – не осудят ли люди, не засмеёт ли нечистая сила? Со стороны невесты приглашённых не нашлось – Марья сиротой была, со стороны жениха позвали двух кикимор из соседнего болота, оборотня Михеича, сводного Кощеева брата Верлиоку, да в свидетели пришлось взять дядьку Вия, который накануне нагрянул погостить с Черниговщины. Тиграна Горыныча решили не звать – уж больно большой и шумный, ест в семь ртов и дымит сильно; а Марья уже на втором месяце была, ей от рёва и дыма нехорошо могло сделаться.

Слуги Кошей Дыр, Бул и Щыл привели из ближайшей деревни батюшку отца Трофима. Поп этот славился тем, что за бутылку самогона мог хоть чёрта обвенчать. Отец Трофим, ничтоже сумняшеся, благословил новобрачных и, умыв руки, остался на обед.

Самобранке заказали только напитки, все остальные угощения Марья приготовила сама. Новых своих сородичей принимала она приветливо, для каждого находила тёплые слова, никем не брезговала, вела себя скромно, но по-хозяйски.

Для нечисти такой приём был в диковинку.

Кошей пил мало, был задумчив и молчалив.

– Ты понимаешь, – рассказывал он брату Верлиоке, когда вышли покурить, – сам не знаю, как всё получилось. Похитил её без всяких серьёзных намерений, хотел людишек пострадать, позабавиться, тряхнуть бессмертностью...

– Влюбился? – Верлиока сощурил единственный глаз. – Эвона как!

Кошей отмахнулся.

– Да ну! Кровь, понимаешь, застоялась, хотел сразиться с кем-нибудь, с богатырём там, или с добрым молодцем. Здоровье поправить хотел – у меня, понимаешь, кости ломит, жизнь-то у меня...

– Сидячая? Эвона как!

– Да какая сидячая! Висячая. Сто лет и три года прикованный в подвале провисел, потом ещё полтинник над золотом чах, как нанятый.

– Зачах, значит? Эвона как, брат!

– Хотел косточки поразмять, помахать кладенцом двуручным. Ради спорту, ради, так сказать, соревновательности. Я б его рубить-то не стал, пару синяков поставил бы на память и отпустил восвояси, вернул бы девицу, куда положено, больно нужна она... была. А тут...

– Что? – Верлиока выпятил глаз.

– Что! Ухажёр у неё оказался ненадёжный, хлипкий, спасти не пошёл! Пропал куда-то, как в воду канул, никто его с тех пор не видел. Так военно-спортивная часть дела на нет и сошла.

– Не ухажёр и был, – сказал Верлиока с презрением. – В ошип таких надо, эвона как!

– И осталась Марья у меня жить... Марьюшка...

Кошей закашлялся, выбросил прочь самокрутку.

– Фу ты, совсем здоровья не стало... Понимаешь, попривыкли мы как-то друг к другу, приладились. Прикипели. Она знаешь какая рукодельница, какая мастерица! Золотые руки! Мне б давно такую бабу, я б, может, и злодействовал бы поменьше...

– Эвона как! – присвистнул единственным зубом Верлиока.

– Ну и бес меня попутал, – продолжал Кошей. – А может, не бес, а это самое – судьба!

– Непорядочки, – проскрипел оборотень Михеич. Оказывается, он тоже вышел перекурить, обернулся лестничными перилами и, оставаясь незамеченным, слышал весь разговор. – Непорядочки это, господа хорошие. Мезальянс получается.

– Не мути трясицу, Михеич, – сказал Верлиока, – эвона как!

– Да я чего, я так, ничего почти, – стал оправдываться оборотень. – Я даже не о том толкую, что наш нечистый народ ентот артефакт инако толковать будет, – это и ужю понятно. Я о том говорю, что есть ещё одна сторона дельца – личная. Баба, Кощеюшко, она кого хошь до греха доведёт, хоть и нашего брата – нечистого. Я, конечно, того, не осуждаю, только предостереечь хочу. Семейная жисть – она, братцы, к мысли располагает, она мыслёй чревата. Начнёшь размышлять, задумываться привыкнешь – а там и до срамоты недалёко. Не заметишь, как сам в себе кончишься – в смысле злодейства и эгоизмуса. Добреньким станешь, малахольным, как Марьин прежний ухаживальщик. Вся сила во мху болотную утекёт, только её и видели. С бабой повидёсси – сам бабой обернёсси. А? Или не прав я?

Кощей и Верлиока задумались, по второй сигарке запалили...

А промеж женщин в это время свой разговор складывался.

– Ты, красавица, по какой причине на такой бабий подвиг решилась, – интересуется кикимора Людка, – по любви или из расчёту?

– По любви, тётъ Люд, – отвечает Марья. – Правду говорю, тётъ Люд, – хотела Марья прибавить: «Вот те крест!» – да остереглась: у нечисти свои устои, свои приговорки и верования, сразу так с посторонним уставом влезать не стоит. – Спервоначалу-то я, конечно, испугалась, – продолжает, – рыдала горькими слезами, тосковала по родине потерянной, судьбу такую никак принять не решалась. А потом слёзы высушила, пригляделась – смотрю, а всё не так уж плохо...

– Чего ж тут плохого? – без спросу вмешалась в разговор кикимора Зинка. – Замок отдельный, закрома немереные, яблочко на тарелочке, скатерть-самобраночка, кошелёк-самотряс! Я б сама такой подвиг совершила б – по самой что ни на есть любви, без расчёту.

– Ага! Только рожей не вышла! – задрезнилась Людмила и Зинкину стопку опорожнила внаглую.

– Зря вы так, тётъ Зин, – покачала головой Марья. – Я сюда не по своей воле попала, у меня перспективы за Кощея Феофаныча замуж выходить в планах не было. Только человек предполагает, а судьба... корректирует. Знать, на роду мне было написано сделаться Кошеевой женою. Я в нём человека увидела, самого обычного человека – мужика беспомощного. Гляжу: погибает бобыль без крепкой женской руки, ржавеет и мается от личной неустроенности. Я и пожалела – тут помогла, там объяснила, здесь подмела, там заштопала. Он ведь в быту – пенёк пеньком. Всё б ему злодейства да сражения, тут он на коньке, а как с конька слезет – хуже дитяти малолетнего, хоть за руку води. То всякую пададь ест, то яды пьёт без разбору, а однажды, как похолодало, вместо ушанки шапку-невидимку напялил и сам себя сутки найти не мог!

– Да, – сказала Зина, – теперича он себя вообще найти не сможет. Ему теперича не до злодействов будет. Пропал Кащик для нашенского обчества.

– Ты щебечи да не защебечивайся, – рекомендовала Людка. – За такие слова по шее схлопотать можно!

Чудом удалось Марье сестёр вздорных успокоить – чуть было не ознаменовали свадьбу женской сварой...

А поп Трофим знай себе пьёт горькую, изо всех кувшинчиков пробует поочередно и вперемишку. До того напробовався, что с места сойти не может, только рожи кикиморам корчит, сально подмигивает. И вот, когда торжество за полночь перевалило, попытался отец Трофим встать, чтобы выйти из-за стола. Поднял тела со скамьи, а дальше нести не может! И рухнул обратно всем своим прогнившим существом, левой щекой прямо в солёные рыжики умастился. А народ внимания не обращает, народ уже и сам горазд скамейки ронять да в блюдах отлеживаться. Поэтому и не заметил никто, как у того пьяного попа из-под рясы выползла на стол

змейка размером со столярную тесьму, зелёная и с пунцовой полоской на спинке. Выползла, под миску с рыжиками юркнула и дальше промеж столовых приборов поспешила.

Стекла переливчатой стружкой со стола, проскользнула между ногами пляшущих и направилась прочь из залы. Один только Кощей ее заприметил – выпил он сегодня мало, остроты зрения не утерял, а в сумерках оно у него только обострялось.

Пока Марья с отцом Трофимом возилась, тряпочки моченые прикладывала да снадобье волшебное в ноздрю впихивала, Кощей вышел в замковый коридор, углядел на каменном полу едва заметный влажный след и пошел туда, куда змейка уползла.

Привёл след в подземелье, в каменный мешок, где когда-то он, Кощей, особо буйным пленникам укорот давал. Марья недавно все пыточные инструменты вынесла, очистительными травами промыла всё дочиста и ледник здесь соорудить задумала – чтобы продукты на зиму хранить. А пока в комнате шаром покати, кипятком окати: пусто. Деваться змейке некуда, загнал ее Кощей в каменный угол, ногой хвост прищемил, потом в руки взял, к лицу поднёс.

– Ага, – говорит, – попалась, гостья непростеная!

Змейка языком своим гибельным возле Кощеевых глаз постреливает, а ужалить не решается – не по зубам ей данный субъект.

– Выкладывай, – говорит Кощей, – с чем явилась?

Шушукнула что-то змейка ему в самое ухо, ядом обожгла. Кощей в руке её смял – едва не душил.

– Будешь, – говорит гневно, – за то служить мне отчаянно, жизнью долг отплачивать!

В этот миг сверху, из гостевой залы, грохот и гул послышался. Это дядька Вий гопак отплясывал, на ногах не удержался – своды затряслись, свечи дрогнули. Бросился нечистый люд его поднимать, да слишком тяжёл чучело – машет конечностями, как перевернутый жук, телом егозит, а назад перевернуться не может.

– Поднимите мне веки! – вопит. – Веки поднимите! Прищепили же!..

Вернулся Кощей в зал мрачнее прежнего, взгляд тяжёл – хоть утюги передвигай. Смотрит – свадьба расползлась по швам, никто о виновниках торжества не вспоминает. Даже слуги Кощеевы подносы побросали и с кикиморами в «блинчики» играют. Хорошо еще, народу немного, а то развалили б весь замок до фундамента!

А Марьюшка в голове стола сидит одиноко, бледная, руками за голову держится – ей этот бедлам уже не под силу разруливать! Кощей как на неё глянул, так вся мрачность с него сошла.

– Нехорошо тебе? – спрашивает.

Кивнула Марья, ладошкой перед лицом помахала – ветерком себя овеяла. Кощей её поднял, за талию приобнял, а потом посмотрел вокруг – и рукой повёл повелительно.

– Ап! – говорит.

Замерли гости – будто в момент заморозились! Только дядька Вий конечностями шевелит, подняться пытается – нечистой силы в нём столько, что сам Кощей над ним власти не имеет.

– Хватит, – говорит Кощей Марье в образовавшейся тишине. – Пойдём, зазноба моя, в опочивальню, не могу больше своё целостное счастье в этом кабаке разминивать!

– Пойдём, – кивает Марья-Выдумщица. – Воздухом подышим, на звездочки посмотрим, с месяцем поговорим.

И пошли они в свой обжитой уголок, что на шестом этаже Кощеева замка. Вышли на балкон, стали звездочки считать. Десяток сосчитают – целуются, ещё сочтут – снова целуются, и так до бесконечности вселенской.

И вот тут-то забыли они, кто чистый, кто нечистый, кто смертный, кто бессмертный, кто стар, а кто молод, кто богат, а кто беден, – обо всём на свете забыли, такое сказочное забытие на них навалилось. Здесь, под звездами, и свадьба настоящая у них случилась, и Месяц-батюшка

протрубил им в перламутровый рог, и невесомые их судьбы крепко-накрепко перекрутились и связались прочным земным узлом.

В четыре утра, ещё до первых петухов, захрапел на весь замок дядька Вий – подпортил свадебную идиллию. А в остальном – удался праздник!

Через семь месяцев у Марьи-Выдумщицы и Кощея Бессмертного родился сын.

Назвали первенца по-человечески – Иваном.

Часть первая

1. Кощей Бессмертный

А теперь и сказку начинать пора. Потому как настала такая сказочная потребность. Сказка – она ведь сказке рознь. Одну сказку да к другой сказке, да третьей сказкой приправить, да с четвертой перемешать – глядишь, и не сказка уже, а самая заветная быль!

Вот так и у нас получилось – была сказка, да обернулась былью. Потому как двадцать лет прошло и всё в замке Кощеевом переменялось. Самая главная перемена – стал Кощей здоровьем совсем слаб, все болезни на него разом навалились и довели до полной злодейской профнепригодности. Слёг бессмертный в постель, лицом зачерствел, телом сгнился. И раньше-то худощав был, а теперь вовсе кожа, кости да некоторые металлические детали организма. Не до злодейств супостату, не до колдовства, свелись все заботы к суровому прожиточному минимуму: каши похлебать да во двор до ветру выползти.

Почему вдруг случилось с Кощеем такое, никому не ведомо. Жил да жил пятьсот лет, вредными привычками злоупотреблял на полную катушку – и ничего, а тут вдруг в три года скрутило ирода в пеньковую веревку. Были, знать, на то причины, были, да только мало кто о них догадывался. Ведь о Кощеевом истощении мало кто знал, только жена Марья да сын Иван. А на слуг Кощеевых Марья заклятье навела: пусть только попробуют языком на стороне лишнее болтать! То есть Марья никакого заклятья всерьёз навести не смогла б, но взяла прислугу на испуг: дескать, кто не верит, пусть попробует. Умная женщина Марья, ничего не попишешь. Это она решила окрестное население о бедственном положении Кощея не извещать. Иначе, думает, стабильность в мире нарушится, понаедут богатыри сводить счёты с немощным узурпатором. На лёгкую победу мало ли охотников!

Марья-Выдумщица главенство в семье взяла задолго до того, как болезни Кощея к койке приковали. Вскорости после свадьбы всю инициативу у мужа перехватила, стала им командовать и хозяйством распоряжаться единолично. Кощей не сопротивлялся, ибо влюблён был до беспамятства, до полного паралича воли. А когда опомнился, менять что-либо было уже поздно. С той поры махнула жизнь своим флюгерным хвостиком и повернулась к лесу передом, к Кощею задом. Стал он к своим обязанностям формально относиться, без огонька, без задоринки, а потом вовсе затух – перегорел. Перестал злодейничать, превратился в мелкого нервозного ворчуна, лишь домашних и мучил – только на них теперь порошу хватало. Стал Кощей Бессмертный о смерти задумываться, литературу всякую почитать. В общем, всё случилось, как преддрекали оборотень Михеич и кикиморы, типун им всем на язык за такие предсказания!

Кикиморы первое-то время в доме ошивались, подкармливались с Кощеева стола, Марье по замку да в поле помогали, но потом пошла у них интрига, стали они рожи за Марьиной спиной строить да фиги в карманах держать: мол, мужик-то Марьин – того, совсем под подол подлип! Марья это почувствовала и, как только власть свою в полный вдох ощутила, так и прогнала родственниц в болото, с глаз долой.

Нацепила Марья-Выдумщица на передник ключи от всех замков и взяла в свои ловкие работающие руки всё Кощеево хозяйство – от чердака до подвала, да и пустилась помогать окрестным крестьянам, особенно малоимущим. Обеды бесплатные устраивала (благо скатерть-самобранка всегда под рукой), для детишек ёлки разыгрывала, леденцы по воскресеньям рассылала. Раздавала просителям монеты из кошелька-самотряса, но не бездумно раздавала, не транжирила, а развела, как в народе говорили, бюрократию и политес. К каждому нуждающемуся подходила индивидуально – не из скопидомства, а только из осторожности; она-то уяснила себе, что есть волшебство и как оно может некрепкого человека надломить да на изломе высосать.

Замок Кощеев, благодаря Марье, за эти годы преобразился и благоустроился. Раньше что в нём было – темень, плесень, сырость, а теперь – свет, газ, горячая вода, подъёмная машина, на

каждом окне занавески, на каждой двери ручка и шпингалет. Всё это Марья-Выдумщица своей головой придумала и в жизнь воплотила. Даже поклеила в рыцарских залах обои в клеточку, даже в винном погребе повесила по стенам полочки и крючки для кружек – не замок, а дом культуры! Марья и думает: зачем такой огромной жилплощади в праздности пропадать, и так всем по отдельной комнате выделено, включая малоинтересных слуг, а в зальных помещениях можно гостей принимать! В бывшей пыточной устроила Марья библиотеку для сельских ребят, в перестроенной душегубной палате определила лекционный зал. Приглашать стала и своих, человеческих, и нечистую силу, а поскольку одни с другими особо пересекаться не любили, то по чётным дням принимали нечисть, по нечётным – людей. В выходные тоже через раз увеселительные вечера устраивали.

В общем, замок жил теперь подвижной общественной жизнью, кипел и посвистывал, как чайник с кипятком. Только Кощей, бедняга, не радовался – изнемогал не по дням, а по часам, и по чётным, и по нечётным – одинаково. Скоро превратился в чучело человекообразное, смотреть мучительно стало – мумия да и только.

Одно развлечение у Кощея осталось: смотреть человеческие новости, всякие успокоительные сказки и приключения. Для того дела рядом с кроватью на тумбочке положено было волшебное блюдо с яблочком – катнёшь яблочко по блюду, весь мир в нём отражается, всё интересное показывают в цвете и со звуком.

А в то утро, с которого наша сказка начинается, вышло с Кошеем недоразумение. Мелкое, но уж больно неприятное. Кощей ведь не только телом слаб стал да духом мягок, он и разумом поизносился: память подводить стала. Проснулся и не помнит, кто он. Долго лежал, вспоминал, в зеркало смотрелся, тень собственную на стенке опознавал. Что, думает, за спичка обгорелая? Потом обернулся, увидел свои былые портреты, по стенам развешанные, – и только тогда что-то припомнил. А как всплыла в голове автобиография – так и самому страшно стало.

С горя сел Кощей на кровати, ножки цыплячьи свесил, взял с блюда яблоко и стал от него ножичком кусочки отрезывать да в рот складывать. Долго каждый кусочек обсасывал – без зубов иначе нельзя. Когда уж от яблока четвертинка осталась, Кощея как током прошибло: это ж фрукт не для еды, это ж волшебный инвентарь, из комплекта с блюдцем! Ай-ай-ай! И напал на Кощея двойной отчаянный страх: во-первых, он теперь без окна в мир, а во-вторых, от Марьи попадёт.

Марья, когда сообразила, в чём дело, только руками всплеснула да ключами на мужа замахнулась.

– Ах ты, – шипит, – сапог медный! Кость суповая! Ты что же, мракобес, безобразничаешь!

Кощей тихо лежит, только одеяло на глаза надвигает – знает по многолетнему опыту, что лучше перетерпеть, пока жена весь пар не выпустит. А Марья только ещё начала, только приступила – столько у неё в словарном запасе эпитетов, что не все в сказке упомянуть возможно, на некоторые перо не поднимается! Такую Кощейю отповедь устроила, что портреты на стенах – и те в краску вошли.

Слуги Кошечевы в таких случаях берушами пользовались или воск свечной в уши засовывали – защитят слух и ждут пятнадцать минут. Потом – ничего, можно уже пробки из ушей вынимать. А ведь пока Марья в замок хозяйкой не вошла, ничего эти твари не боялись, сами могли кого хочешь испугать до смерти.

А жена всё горланит, не прерывается:

– Где я теперь новое волшебное яблочко найду, ущерб ты скупосый! Еды ему мало!

И как шмякнет осиротевшим блюдечком об пол! Только дребезги по стенам разлетелись. Всё, теперь весь комплект из строя вышел – ни яблочка, ни блюдечка.

Марья лишь после этого звона остановилась, опомнилась, присела в изнеможении на край кровати Кощеевой. Муж из-под одеяла лицо показал, болезную руку к столику протянул, дал ей отпить живой водички из стакана. Марья хлебнула пару раз, потом успокоительных капель накапала, тоже выпила. Стала к ней природная бабья мудрость возвращаться.

– Прости, Кашик, – говорит мужу и по лысине гладит. – Не сдержалась. Нервы, мирое-душка...

И поцеловала его в сморщенный лобик. Ладонкой стала осколки с постели смахивать.

– Сейчас подмету, – говорит. – Люди сказывают, это к счастью, когда посуда бьётся. А в нашем замке вся посуда железная – вот и поди сыщи с ней счастье-то! Это блюдо единствен- ный в доме фарфор был. Знать, какое-то единственное счастье на нашем горизонте обозначи- лось.

– Неужто счастье? – скулит Кощей.

– А ты не бойся, старый, переживём. Всё переживали, и счастье переживём.

Сходила Марья за веником и принялась осколки в кучку сметать. Подмела, навела в спальне порядок, одеяло поправила. Ещё раз вздохнула да уже идти хотела, а тут вдруг Кощей голос подал.

– Погоди, – говорит, – Маруся, постой. Есть у меня к тебе разговор важный. Не могу больше, Маруся. Никакого терпения не осталось, никаких сил. Зови сына, буду его о главном просить.

2. Иван, Кощеев сын

Ивану к тому сказочному моменту двадцать первый годок пошёл. Только он, несмотря на такой серьёзный возраст, совсем ещё неоперившийся молодец был – сила есть, энергии хоть отбавляй, а приложить не к чему. Он же ничего, кроме замка родительского да близлежащих территорий, не видывал. Выберется, бывает, в деревню – с девицами подружится, с парнями подерётся, или наоборот – в лес прогуляется, на болоте с русалками словом перекинется, с лешим свару затеет... Только разве это для двадцатилетнего лба школа жизни? Привык на всём готовеньком жить: что хочешь папашка достанет, за ценой не постоит, всему мама научит, ей премудрости долго разыскивать не надо. Но ведь своим умом пора молодцу жить, своими руками необходимое добывать!

А самая большая загвоздка в том состоит, что до сих пор никто понять не может – смертный Иван или же бессмертное получудище? То есть по материнской линии пошёл или по отцовской? И никто ответить не может: гадалок да ворожей о том спрашивали, у колдунов интересовались – в их практике ещё такого брачного курьёза не встречалось. И существует Иван как бы под вопросом, как бы в неизвестности – сколько ему отмерено? От постоянной на эту тему задумчивости на лице несколько складок образовалось – не по возрасту взрослых. И в натуре переплелись черты великовозрастного дитяти и юноши, готового к важным жизненным свершениям. Он внешне и на маму похож, и на папу, смотря какое настроение преобладает. То он властен и рассудителен, а то злобен и воинственен. Плечами широк, ростом статен, хоть кость узкая, – это всё в отца. Зато лицом румян и рукой тяжёл – это в мать. С виду вроде человек человеком, а когда разозлится, всё тело холодной судорогой сводит, кулаки каменными становятся, торс покрывается кольчужными мурашками и по суставам проступают металлические элементы – всяческие заклёпки, шестерни и тумблеры. И становится Иван опасен для окружающих и для самого себя. Потому и людей сторонится. Но и к нечистой силе не спешит прикнуться – ей он ещё более чужд. А какая у него сущность – этого никто ни словом, ни делом не определил, потому как Иван растёт задумчивым лоботрясом, ремёслами не занимается. Никто ему особо не близок, всё-то он особнячком да закоулочком. А ведь пора уже проявляться – по годкам судя, перезрелок, в деревнях парни в этом возрасте уж детей своих вовсю ремнём порют, не стесняются. А у Ивана интересы детские, какие бывают у единственного в семье ребенка: в солдатики поиграть, книжки почитать, подумать вдоволь, да в окно посмотреть, да рыбу поудить или же в лес за грибами прогуляться. Один всё время Иван, с родителями – так себе отношения. Такая у них семья: вроде все вместе, а на деле – каждый по себе. Будто расщепила их родовое древо молния, и пошли все побеги расти в разные стороны.

Пришёл Иван к Кощею, встал перед ложем отцовским весь из себя горделивый и самостоятельный, руки за пояс засунул, морщится от лекарственных запахов. Давненько не был Иван в отцовских палатах! Глядит на сына Кощей Бессмертный, сказать что-то хочет, а что сказать – забыл: склероз!

– Э-э-э... – кряхтит, одеяло поправляет.

А одеяло короткое: на шею подтянет – ноги голышом остаются. Увидел Иван эти ноги старческие, с синими ногтями, с жилами корневидными, с узкими покойническими пятками – сразу вся спесь с него сошла и румянец по пути стёрла. Стало Ивану отца так жалко, будто не бессмертный ирод перед ним, а самый обыкновенный пшиковый старик. Иван, может быть, впервые через эти босые конечности к батюшке почувствовал любовь и соучастие.

– Ты чего, Иван? – спрашивает Кощей.

Иван, чтобы смущение скрыть, принялся постель поправлять, ноги отцовские под одеяло убрал. Стоит в растерянности.

– Ты присаживайся, Ваня, – говорит Кощей, а сам руками шею свою цыплячью прикрывает – он про ноги-то догадался, теперь не хочет, чтобы сын остальную худобу разглядел. – Мне с тобой поговорить надо. Только я не помню, о чём. Вся память из головы ушла, а в каком направлении – не сказала.

– Ничего, батя, – говорит Иван. – Сейчас вместе вспомним. Одна голова хорошо, а две лучше.

– Во-во, Вань. Сосед мой, Тигран Горыныч, тоже так говаривал. А сам голов-то своих не жалел, много у него их было. Одной головой, говорит, больше, одной... Погоди, Вань, это я к чему?

Кощей на локте приподнялся, озирается, водицы живой испить ищет.

– Вот оно, – говорит, – сынок Ванечка, бессмертие моё: смотри внимательно. Кому такой бессмертник нужен, калека бессмысленный!

А Иван и так с отца глаз не сводит, взглядом всю эту метаморфозу понять пытается. Кощей его взгляд отметил, рукой махнул, шею перед сыном открыл. Иван, как это горлышко с кадычком увидел, чуть не заплакал.

– Усох ты, батя. Наверное, того... ешь мало, – говорит с сомнением и кружку родителю подаёт. Молчать страшно – всякие мысли сразу в голову лезть начинают, за живое надкусывают. – Слышал я, что у Тигран Горыныча голов совсем ничего осталось, две-три, – говорит он.

– Вот и я толкую, Ваня, – отзывается Кощей, – не храним мы то, что нам дано. Не храним... Я вот, к примеру, тоже... Пстой...

Иван опять кружку отцу подаёт. А тот отводит: не то, мол.

– Погоди-ка, Ваня... Я, кажется, вспомнил, о чём с тобой переговорить хотел.

Иван поближе к отцу подвигается, а Кощей тоже тянет к нему мощи свои, бородкой перед носом, как флажком, трепыхает.

– Я ж, Ваня, попросить хотел... Просьба у меня к тебе важная... – не знает Кощей, как к главной теме подступиться, всё вокруг да около бродит. – Хотел я тебя, Иван, просить, чтобы ты на меня злоб-то не держал.

– Ты чего, батя! Я на тебя никогда злоб не держал, это ты меня с кем-то перепутал.

– Вот и не держи. И я на тебя никаких злоб не держу. Я, Ваня, даже рад тому, что мы с тобой во взглядах на жизнь расходимся в разные, так сказать, направления.

Иван глаза отвёл, в пол уставился. А Кощей продолжает в здравом уме, в трезвой памяти:

– Совсем я плох, Ваня. Себя не узнаю. Семейная жизнь, Ваня, всю природу мою изменила, кроме, так сказать, последнего пункта. И ведь даже не знаю – хорошо это или плохо, не пойму никак! Голову сломал. Ты малой ещё был, меня, наверное, в прежнем виде и не помнишь...

Оба невольно на стены глянули, на портреты Кошчевы в прежнем статном виде, в полной боевой амуниции.

– Помню, батя, – говорит Иван. – Я, батя, тебя молодого хорошо помню.

– Да... Мне тогда, стало быть, четыреста шестнадцать было. Вон каким гоголем пыжился, а! Да... А всего-то, Вань, двадцать лет прошло, и вместо гоголя – моголь. А ещё точнее – немоголь!

Кощей рукой махнул, горько хихикнул, отвалился на подушку. Отвёл взгляд в потолок, заговорил хрипло и негромко, будто нотацию вычитывал.

– Раньше-то я, Ваня, ветер в голове носил, жил на все четыре стороны. Куролесил, одно слово. А как стал с человеческой женой жить – с твоей, стало быть, матерью, – так начал задумываться, размышлять о содеянном, некоторые поступки с критической точки зрения пересматривать. Пошли у меня, Ваня, сожаления всякие, кризисы и угрызения... страшно сказать, Ваня... совести. До самоедства, сын, докатился. Раньше-то здоровье железное было, а как стал задумываться и совесть прочувствовал – так хвори начались, болезни подступили. Стал я,

Ваня, таять, как размятый пластилин. По металлическим местам – ржавчина, по сухожилиям – дряхлость. Понял я, Ваня, что жил неправильно, паскудно жил. Большую половину бессмертия потратил чёрт знает на что! Больно мне теперь, Ваня, мучительно больно! За бесцельно прожитые столетия. Сколько я всего начать-то мог, да уж и закончил бы к сему моменту...

Зашёлся Кощей в кашле. Иван водички в стакан налил, да отцу дать никак не может – того кашель по постели таскает, встряхивает. Насилу успокоился Кощей, до всхлипов докашлялся, до икоты. Отпил два глотка, откинулся обратно на подушку, постонал немного. Потом будто бы вспомнил, что о важном с сыном разговаривает, – встрепенулся, бровями заводил.

– Пришли ко мне, – говорит, – Ваня, болезни неизлечимые. Застали меня врасплах, взяли за горло. Страдаю, Ваня, от болезней этих. Шибко страдаю, – голос у Кощея дрогнул, пронзительной нотой скрипанул. – Болезни, видишь, неизлечимые, а больной-то, как на грех, бессмертен! Налицо – конфликт неразрешимостей. Вот и выходит, Ваня, что суждено мне бесконечное страдание!

Ещё помолчал Кощей, дух перевёл. Далее продолжает:

– Я ведь, Иван, давно во всех грехах покался, всё прошлое самоосуждающим взором перелопатил, а избавления всё нет... Ваня, сынок, на тебя уповаю. Только ты можешь от страданий отца избавить. Не могу больше терпеть, нет моих больше сил!

– Что ж ты хочешь-то от меня, батя? – спрашивает Иван.

Кощей на локотках приподнялся, бородкой Ивану прямо в подбородок тычет, хрипит. Из рта ржавым железом пахнет.

– Ты поди, Ваня, по свету, найди смерть мою...

Иван отпрянул от отца, чуть со стула не слетел.

– Ты чего, батя?! Зачем тебе?

– А-а, – хрипит Кощей и обратно в постель валится. Закрыв глаза – совсем тяжело старику, того гляди в беспамятство рухнет. Из последних сил слова из души вытаскивает.

– Мне, Вань, уговаривать тебя трудно. Так что ты не ломайся, выполни просьбу отцовскую, безо всяких там сантиментов и прочей чепуховины. Очень тебя прошу.

Иван помедлил немного, обдумал отцовские слова, потом встал с кровати – вроде как согласие даёт, но словами вымолвить не может, а только фигурой своей, выпрямленной в рост, готовность показывает. Кощей с облегчением глаза прикрыл, даже улыбнуться постарался ртом обеззубевшим.

– Я, Вань, дурака свалял, – говорит Кощей, глаза заново открывая. – Я ту иголку, в которой смерть моя теплится, так от всех добрых молодцев прятал, что сам вконец позабыл, где она. Склероз, одно слово. Позавчера помню, а сегодня упускаю. Из рук вон, Ваня. Ты вот что, пока не забыл: вырастешь – зла не делай, до добра это не доведёт.

– Так где, где игла-то, батя?

– Чёрт её знает! Не помню.

Сказал – и к стенке разворачивается. Иван думал, что отец слово своё закончил и уснуть собирается, шаг назад сделал. Ан смотрит – нет, не спать Кощей собрался, а что-то из-под перины вытаскивает, какую-то заначку в тряпочке. Стал тряпицу разворачивать – не упрямился, всё из неё на пол посыпалось. Кощей дернулся, да замер от боли, глаза закатил, лицом пожелтел. Иван поспешил собрать, что укатилось, а сам на родителя смотрит – и сердце сжимается от созерцания: не уместается этот съеденный болезнями сморчок в Ванином сердце, разрывает его на кусочки!

Кощей носом дышит – громко, замедленно; языком во рту звуки нащупывает. Наконец чмокнул языком – нашёл, видать, что-то.

– Прости, Ваня, прости, сынок, – говорит. – Надо бы тебе в помощь средств чудесных выделить, да я, дурья морда, всю жизнь только о злодействах помышлял, все походные чудеса

по ветру пустил. Осталось у меня три чуда, да и те – не чудеса, а так, мелкие пакости. На вот, забирай. Как их во благо использовать, не знаю – по ситуации сообразишь.

Ожил немного Кощей, от боли оправился; левой кистью обшаривает предметы, которые Иван на тряпочку возвернул, да по одному выдаёт.

– Вот это номер один: клубок-колобок непутёвого сорта; уводит всегда не туда, куда надо. А вот второй: глиняный божок – волшебный рожок; стоит в него дунуть, как всякая нутряная гадость наружу вылезает. И ещё третье: от чёрного цветка Подлунника белое семя – внутри него яд усыпительный, сон упоительный, убивает намертво. Не знаю, для чего, – вдруг да пригодится. Э-эх, – вздыхает, – а доброго у меня добра нет, не припас, одна только злоба злобая в наличии...

И заплакал Кощей Бессмертный – так ему себя жалко стало, так обидно за жизнь пусто-порожную, за бессмертие бессмысленное.

Долго ли, коротко сидел Иван возле отцовской постели, только Кощей слёз довольно выплакал и стал наконец засыпать. Как только Иван похрапывание ощутил, так думы прогнал, встал осторожно и к двери на цыпочках крадёт. Но возле самого выхода вдруг чувствует: храп заглох. Ваня уши наострил и слышит, как тихо-тихо, из последних сил зовёт его Кощей Бессмертный:

– Погоди ещё, сынок.

Остановился Иван, к ложу вернулся, ждёт.

– Я главное не сказал, – сипит Кощей. – Самое главное, Иванушка.

Иван ещё ближе к отцу голову нагнул, чтобы слова расслышать.

– Ты, когда эту иголку найдёшь... Ты ж найдёшь её, Ваня?

Иван головой кивает, за руку отца взял.

– Ты её того...

– Чего «того» батя?

– Того... Разломай её, значит, напопо... на-по-по... лам. Да?

Ничего Иван не ответил, только всего его в краску бросило. В груди тревога поднялась, забилося пойманным воробьём молодецкое сердце. Оставил он отцовскую руку, встал с кровати и вышел поспешно.

3. Марья-Выдумщица

Никогда ещё Иван так надолго не покидал окрестности замка. Перспектива дальнего многотрудного путешествия и радовала его, и пугала. Первым делом Иван поставил в известность мать. Марья не удивилась – умная была. Вместо всяких охов да ахов спросила:

– Завтра в дорогу двинешься или прямо сейчас пойдёшь?

Иван затылок погладил, окинул взглядом замок, будто примеривался, когда его оставить легче, да и отвечает:

– А чего откладывать!

Марья кивнула кротко, вздохнула да и стала расстилать самобранку: перед дальней дорогой, думает, самое главное – как следует подкрепиться.

Иван на этот счёт возражений не имел: сел за стол, принялся уплетать с удвоенным усердием, чтобы впрок захватить, а мать тем временем достала из закровов добротный старенький вещмешок и принялась снаряжать сына в путь-дорогу. Уложила тёплое исподнее, шерстяной кафтан, опасную бритву...

– Вот это, мам, тоже спрячь, – просит Иван и протягивает ей предметы, которыми папаша его снабдил.

– Что это такое? – спрашивает Марья.

– Батя дал. Чудеса вспомогательные. В дороге пригодиться могут.

Марья Кощеевы подарки осмотрела, фыркнула.

– Выкинь, – говорит, – эту гадость. Это ж одноразовые чудеса, китайскими чародеями сделаны – не для души, а на продажу. Толку от них чуть, одна морока.

И отбросила их под лавку.

– А чего же мне с собой взять? – удивляется Иван.

– А вот я тебе тут приготовила, – и пошла Марья в мешок одно за другим вкладывать. – Пирожки тут, сырнички со сметанкой, халва, вяленая рыбка... В общем, хватит на первое время. Только ты сухомяткой-то особо не увлекайся, как только возможность представится, горячее ешь, суп, кашу. Понял?

– Да понял, матушка, понял. А чудес-то ты мне каких-нибудь выделишь?

Марья на сына с укоризной смотрит.

– Вань, ты как дитя малое. Нешто я тебе сотню раз не говорила, чтоб от чудес да колдовства подальше держался!

– Но тут же такое дело... – мнётся Иван. – Всё ж таки надолго иду, неведомо куда! Хоть бы скатерть-самобраночку там или коврик летающий...

– Значит так, Иван, – Марья на строгость перешла. – Ты мне брось эти замашки – лишь бы не работать! Человек ты или сила нечистая? Не знаешь? Вот иди и выведай. Своими, как говорится, руками, своими ногами, своею собственной головой. Уяснил?

Иван, пристыженный, кивает, ремень к мешку прилаживает. Марья, чтобы смягчить отповедь, говорит:

– А ковёр самолётный твой папаша Тиграну Горынычу подарил, лет семь тому... Ковёр уже совсем плох был, летал низко, погоды нелётной боялся, вот мироедушка его и смахнул не глядя, хотел змея щедростью восхитить. А Тигран Горыныч даже спасибо не сказал – ни слуху от него, ни духу: видать, шибко обиженный. Ты, когда по Лесному царству пойдёшь, Тиграну на глаза не попадайся, понял?

Иван головой кивнул, медку хлебнул, рот рукавом вытер, рукава о штаны обтёр. Встал из-за стола, поклонился хлебу-соли.

Всплеснула руками Марья:

– Да что ж это я всё болтаю! Ведь тебе ж выходить сейчас! – и вдруг в слёзы.

Пока отвернулась она к печке да полотенцем слёзы собирала, Иван отринутые чудесные предметы из-под лавки достал и в мешок шустро сунул – на всякий случай. Всё ж таки, думает, совсем без чудес нельзя в пути!

– Ты, сынок, – поворачивается Марья, – при первой возможности весточку присылай – с голубем там или по морю с бутылкой. А я всех предупрежу, чтобы в курсе нас держали. Видишь ты, не вовремя мироедушка блюдец наблюдательное попортил!

– Ничего, мама, – говорит Иван, – ты не беспокойся. Я себя в обиду не дам, да и кто ж меня – сына самого Кошеч Бессмертного – тронуть посмеет!

– На отцово имя не надейся, – упреждает Марья, – это вокруг замка оно силу имеет, а чем дальше от дома, тем эта сила сомнительнее. Как бы твоя родословная тебе боком не вышла. Лучше сам себе имя доброе зарабатывать.

– Хорошо, – смеётся сын, – а бессмертность тоже самому зарабатывать прикажешь? Или она по наследству передаётся?

– Не в бессмертии сила, Ванюша, – отвечает мать. – И счастье не в бессмертии.

Надел Ваня мешок за плечи, постромки подтянул по размеру. Марья как увидела его, совсем готового в путь, так сердечко заныло-заскребло. Она к груди сыновней приложилась, ладошкой погладила, так и хочет сказать: не ходи, мол, сынок, никуда, не надо! Но понимает – надо. И Иван мать к груди прижимает, – давно между ним и родительницей такого близкого заединства не было.

– Мам, – басит Иван.

– Что, Ванюша?

– А мне что – иголку-то и вправду, что ли, разламывать? Или сюда принести?

– А как мироедушка-то сказал?

Иван замялся, взгляд отводит, грудь чешет.

– Он... не успел сказать. Уснул он.

Марья вздохнула облегчённо.

– А ты, – говорит, – сам решай. Подумай – и поймёшь. Или нет: лучше сердца своего слушайся – оно точно не обманет. Голову задурманить можно, а сердце даже самому искусному обману не подвластно.

– Э-эх! – вздыхает Иван, затылок ладонью разглаживает. – Сначала надо ту иголку сыскать! Задача...

– А ты вот что, – говорит Марья. – Ступай перво-наперво к няньке своей, Яге Васильевне. Она завсегда души в тебе не чаяла, авось и теперь в помощи не откажет. Может быть, знает старая карга, где трофей батюшкин искать, хотя бы направление подскажет.

Объяснила Марья сыну, как в лесу избушку найти, точный адрес на бумажку записала.

Вышли мать с сыном на двор – пришёл час прощания.

– Мимо болота иди, – Марья говорит, а сама слёзы едва сдерживает, – а потом возьми ориентиром колодец, в котором в позапрошлом году отец Трофим утоп. От того колодца смотри всё по памятке мо... – не договорила, всхлипом подавилась.

Иван говорить не стал, обнял мать одной рукой, поцеловал в волосы и – из ворот вон. Пошёл, не оглядываясь.

Глядит Марья вслед, косыночкой машет.

– Ступай, сынок, – вздыхает тихо. – Может, себя найдёшь. Коли вернёшься – значит, бессмертный ты, Кошей Кошечевич. А не вернёшься... стало быть, другая у тебя судьба – человеческая, зыбкая.

4. Заколдованный колодец

Вот уж идёт Иван, Кощеев сын, по торной дорожке, путь к лесу держит. Прошёл полем, прошёл лугом, прошёл косогором. А в природе стоит чистый апрель, без всякой посторонней примеси. Кое-где ручьи ещё пробегают, а на светлых местах уже сухость такая, что трава вершки свои показала. Почки наметились, завязь образовалась, снегу и в помине нету. В полдень солнце светит красное, позрелое, а к вечеру холодок понизу стелится, вяжет ходакам ноги, дневных зверей в норы гонит, ночным сигнал подаёт – на охоту, мол, пора, мазурики лесные! Птахи малые вернулись из отпусков, за строительство принялись, песни на родном языке вспомнили. Словом, хорошо на свете в середке весны – лучше не сыскать!

Иван эту прелесть апрельскую вдыхает в себя, и голова у него кругом идёт, никак в одну сторону упереться не может, мысли прыгают ловчее солнечных зайчиков. Больно уж разное на душе у Ивана смешалось: и немощь отцовская, и расставание с домом, и вольная подорожная радость. Миновал он в думках открытую местность, вступил в лес, побрёл по просеке. Уже и ноги с непривычки поднывать стали, подкашиваться.

«Не пора ли, – думает Иван, – привал сделать, червяка желудочного заморить? – и сам себе отвечает: – Да нет, не пора ещё, трёх часов – и тех не выходил». Нашёл себе палку сухую, прочную, смастерил из неё посох – с посошком-то шагать легче!

Миновал Иван болотце, в котором его дальние престарелые родственницы жили – сёстры-кикиморы. Не увидел их: то ли, думает, померли уже, то ли прячутся днём, спят... Потом мимо лесной мельницы прошёл, возле неё тоже тишина – лопасти покачиваются от безветрия, поскрипывают, а внутри пусто, никаких признаков жизни. Жил там некогда леший – татарин Шуралей, да, говорят, на родину подался.

Наконец уже и темнеть стало, уже и морозцем в лицо Ивану подуло. Но он всё далее шагает, думает: «Дойду до лесного колодца, там и сделаю привал».

Лишь к позднему вечеру добрался Иван до означенной цели. Вот он – лесной колодец. Такого широкого колодца Иван никогда ранее не видел – будто огромная лохань. Из четырёх углов торчат лягушачьи головы – так искусно выдолблены, такие причудливые, с такими зубастыми рожками, что даже жутковато становится. Вода в колодце – не достать как далеко, верёвка у ведра длинная, бывалая, в девяти местах перевязанная. Запустил Иван ведро, вытянул водицы, испил вдосыть. Вода холодная, зубы сводит, и привкус у неё странноватый – яблочным укусом отдаёт. То питьё сразу в голову ударило, закружило её и в сон клонить принялось.

Нашёл Иван на поляне, подле колодца того, уютное местечко, пристроил под кустом орешника свой мешок, нагрёб валежника, шишек сосновых насобирали, стал костёр раскладывать. Только костра-то Ивану до того ни разу разводить не приходилось. Он думал – просто всё, а оказалось – где уж там без подготовки да с кружащейся головой!

Замучился он с костром! И так дровишки сложит, и сак выстроит – всё равно толку никакого. Не разгорается костёр, хоть ты лопни! Половину коробка материнских хозяйственных спичек перевёл да в конце концов плюнул на это занятие, достал из мешка кафтан, укутался в него, притулился между орешником и кочкой. Прохладно, конечно, да Иван так разозлился на дрова да на спички, что Кощеева сверхчеловечья сущность проступила в нём и временно даже верх над человеческой взяла. Поэтому Иван даже и не мёрзнет: будто покрылось его тело панцирем, а панцирь тот – на меху.

Вот стал Иван носом клевать. Сны его уже со всех сторон обступили, а тело не поддаётся, мышцы судорогой сводит. Дёрнется Иван всем туловищем и тут же просыпается, будто кто его багром поддел. И вот – взбрыкнул очередной раз, глаза приоткрыл, смотрит вперёд себя, а на небе тем временем месяц узенький закрепился, местность окружающую осветил. Уж не на этот ли

крючок Ивана сны подловить пытались? Поглядел Ваня некоторое время на небо, на колодец, да и собирался уже совсем заснуть, как вдруг где-то совсем рядышком лягушки запели. Пригляделся – а это резные колодезные лягушата трели выдают, квакают во всё своё деревянное горло. Чудеса, одно слово! Иван глаза продрал, уставился на певцов, а те от колодезных бортов оторвались со скрежетом и – шашь! – ускакали вон на четыре разные стороны. И после этого колодец прямо у Ивана на глазах будто ожил. Задрожали стенки его, брёвна ходуном заходили, и такая оторопь по всей земле от колодца прошла, что Ивана чуть подбросило и затрясло. Сон тут же прошёл; Иван глядит на диво да глазам своим не верит – колышет колодец неведомая сила!

А из колодца что-то большое и чёрное выползает. Ивану страшно стало, хотел бы он встать да прочь побежать, только конечности его будто отмёрзли – не пошевелить. Одно остаётся – смотреть, какие дальше будут чудеса происходить. Вот Ваня и смотрит. А из колодца вылезает поп в тёмной, обвитой болотной тиной рясе – огромный, распухший до чудовищного состояния. Борода у того попа – что выдранное из земли корневище: грязнущая, кудлатая, проседевшая. Глаза пустые, голодные, и месяц в них мутным знаменем отражается.

«Да это, – думает Иван, – никак отец Трофим! Тот самый, что в прошлом году утонул в этом колодце! Ну и разнесла же его нелёгкая! Вот ведь, однако, ужасы...»

Вылез поп из колодца, чуть вдрызг его не разворотил. Отряхнулся, рясу подтянул вверх, обнажил ноги свои распухшие, белёсые. А потом вдруг крикнул, подскочил и стал вокруг колодца бегать, будто гонит его кто-то. Долго бегал, круги нарезал, потом упал – и не встать ему никак. Ногами дрыгает, руками загребает, бородой трясёт. Наконец ухватился руками за брёвна, поднялся кое-как. Только встал, опять ему напасть – что-то под рясой заелозило, защекотало, будто змейка какая по телесам заюлила. Отец Трофим ловить её стал, извертелся весь, такого трепака выдаёт, что смотреть совестно. Наконец та невидимая змейка к самому горлу подкралась, – поп сначала замер, а потом крикнул и зашёлся в родимчике, руками за горло хватается, ртом воздух ловит. И в беспамятстве ногами переступает прямо в сторону Ивана – будто даже смотрит на него, будто помощи просит. А Иван с места сдвинуться не может – приморозил его к земле мелкий человеческий страх. И не столько страшно ему, сколько безразлично – от одной только мысли, что сейчас этот живой труп в него упрётся своим неприятным водянистым существом. А поп приблизился к Ивану вплотную и вдруг пропал – распался на росинки, в туман превратился.

Снова всё тихо и спокойно стало вокруг. И внезапное это спокойствие обдало Ивана таким перинным теплом, что он тут же и утонул в том тумане, как в постели своей домашней. И уснул крепко-накрепко.

Утром проснулся Ваня – словно от долгого обморока очухался. Припомнилось ему ночное представление во всех неприглядных подробностях. Сон ли это, думает, или явь? Однако страху претерпел немало, чуть не околел!

«Эка, – думает, – оказия! Всю жизнь с нечистой силой дела имею, в прямом с нею родстве состою – и ничего, а тут какого-то мёртвого попа перепугался, не одолел храбростью своей нечеловеческой! стыдоба-стыдобища!»

Стыдил-стыдил себя, только всё равно долго на этом месте задерживаться не решился. Посмотрел на маманин планчик, определил направление, да и тронул в указанную сторону. Напоследок, правда, хотел фляжку свою пополнить, привязал её к поясу, зачерпнул, превозмогая страх, воды из колодца, да заметил вдруг, что лягушек-то деревянных действительно на месте нет! Нехорошо Ивану сделалось, отошёл он с флягой от колодца, а потом понюхал ту воду – и брать передумал. «А ну её, – размышляет, – к Шуралею! Может, это после воды той такие кошмарности видятся! Найду другой родник, в лесу воды много».

И пошёл поскорее с нечистого места.

5. Яга Васильевна

Как только смешанный лес сосновым бором сменился, Иван почуял, что близок к нянькиному дому. Сверился он с маманиной схемой, стороны света по близлежащим приметам определил. Немного ещё прошёл – так и есть, вон оно, подсобное хозяйство, сквозь стволы просвечивает, дымом-жаром путников подманивает.

Избушка Яги Васильевны уж почитай лет девять как на месте стоит, по лесу не шатается, не рыщет сказочных приключений на свою гузку. Да и не стоит вовсе, а сидит. Ноги-то у неё за столько лет непрерывного марша по пересечённой местности пришли в непригодность, отнялись и онемели – износились ноги: всё ж таки курьи, а не воловьи! Устала изба та. Так и осела на видном месте, протянула конечности. И очень скоро хозяйство Яги Васильевны разрослось вширь и пополнилось прочими пристройками и выгородками: тут, глядишь, и сарайчик наметился, и банька, и отхожее место, затем и огородик прирос, и всякие там парники с теплицами. Как сама бабка о том говаривала: «Человеку не много надобно – чтобы барахлом зарастить».

Только забора настоящего соорудить до сих пор не удосужилась Яга Васильевна, ибо была тем заборах принципиальная противница. Плетень скособоченный поставила – так, чтобы зайцы да дикие кабанчики в огород не лезли, – а забор – ни-ни. Зачем себя от природы отмежёвывать! «Кто с природой не дружит, тот и с головой своей не приятельствует» – это тоже её слова.

Вышел Иван из лесу на полянку, окинул молодецким взором Яги Васильевны участок. А бабка уже на гостя в потайной глазок смотрит – так вот с ходу не признаёт.

Иван тот глазок заприметил.

– Хозяюшка, – говорит, – ты в один глаз на меня не гляди, не рассмотришь. Ты лучше калитку-то приоткрой, да глянь на меня в оба. Может, и признаешь тогда знакомца давнего.

Сморгнул в глазке зрачок удивлённый – отворилась калитка.

И вот стоит на пороге старушка в переднике – молодящаяся такая бабуса лет ста пятидесяти, с шикарной крашеной шевелюрой – во все стороны жгучие зелёные ирокезы торчат.

– Да ты ли это, Ваня! – кричит Яга Васильевна. – Да откель? Да быть такого не может! Да вымахал-то как, возмужал! Сажень богатырская! Ну хоть сей же час в печь тебя засаживай – вылитый добрый молодец в самом соку!

И, прикрыв рот узловатой ладошкой, засмеялась громко и визгливо, но по-доброму.

– А я думаю-гадаю: кто это ко мне пожаловал? Вроде как в одну ноздрю – русским духом пахнет, а в другую – наоборот: зверь или нечистый! Вишь, волосы распустила, пугать гостя приготовилась! Эх, Вянтка!

Ухватила бабка Ивана с нечеловеческой силой, пару раз так тряханула, что у самой из фартучного кармана травяные стебли с корешками высыпались.

– Ну ты, нянюшка, даёшь! – дивится Иван.

А бабка нагнулась за корешками – тут ей в спину и вступило! Ваня помогать бросился – видать, старуха только местами сильна, а в целом-то давно уже на отдых напрашивается.

– Что насобираала-то, Васильевна? – спрашивает Иван просто так, для завязки разговора.

– Да травки разные всякие, – отвечает бабка, приохивая.

– Зелье варить? – не отстаёт Иван.

– Не зелье, Ванюша, а снадобье. Для неё вот, горемычной.

Похлопала озабоченно по курьей ноге, вздохнула и как-то враз постарела.

– Замаялась я с нею, Ваня. Никакие отвары не помогают, никакие заговоры не действуют. Довела я хатку до изнеможения, бесчувственно с ней обращалась, не жалела. Она ж у меня всё же более птица, а я с нею – как с лошадыю. О-хо-хо... Теперь боюсь, как бы и самой не обезножеть... Ну да ничего, Ваня, может, всё ж таки поставлю её, родимую, на ноги, забросим

тогда всё это народное хозяйство, уйдём по белу свету странствовать... Ну чё ты встал, как неродной?! Заходи в дом, такому гостю завсегда рады.

Вошли хозяйка с гостем в избу. Внутри-то изба ухоженная, вся салфеточками уложенная. Печь в изразцах, скамья в завитушках. На окнах занавесочки пришпилены, над печью рыболовные лесочки натянуты, на лесочках – прошлогодний запас грибов к концу подходит да свежие окуньки вялятся. По полу половички расстелены, а в красном углу на буфете стоит чудо дивное, диво чудное – шарик из синего стекла, внутри которого неизвестный вдохновенный стеклодув запаял красную розочку. Красота бабья! Иван сразу этот шар вспомнил, он в детстве от него взгляда не мог оторвать, – всамделишные-то чудеса для него с рождения не в диковинку были, а вот этот манок рукотворный навсегда запал в память, околдовал своим неповторимым соцветием, своими оптическими переливами. Вгляделся Иван в своё закруглённое отражение – затосковал по детским годкам.

А пока он ту дремучую красоту разглядывал да тоской наслаждался, Яга Васильевна травки собранные на печь высыпала, для просушки распределила.

– Васильевна, а сколько ж тебе лет? – спрашивает Иван.

Прищурилась хитро и улыбнулась во весь старушечий рот: показала свой единственный зуб, да и тот – железный, стариннойковки, теперь таких уж не вставляют.

– Эх, Ваня, Ваня, стерня ты ковыльная! – заболтала головой бабка. – И кто только тебя воспитывал! Это ж неприличие – такие вопросы пожилым мадам задавать.

– Да ты ж, няня, и воспитывала, – поясняет Иван. – Разве не так?

– А вот за такие слова спасибо, сынок, – размякла няня. – Что правда, то правда: уж я поболее родителей твоих непутёвых сил-то к тебе приложила. А лет-то мне много, и не счесть лет тех. Многолетка я, Ваня, того и гляди закончу своё мирное сосуществование с ентим светом... Кыш, усатый!

Прогнала бабка со скамьи кота Уклея.

– Присаживайся, – говорит. – Ванюша. Ты как – шибко голодный? Тебя сразу в баньку снарядить или сперва блинками разомнёсси?

– Шибко голодный, нянюшка, – кивает Иван и за стол усаживается.

– Во! – говорит бабка. – Енто по-нашему. Ты пока блинками-то побалуйся, а я сейчас баньку спроворю. Только прежде того гостинец один к столу выставлю, чтобы к обеду разморозился. Гостинец знатный, специально для дорогого гостя припасла. В леднике он у меня припрятан, с осени ещё млеет. Значится, с осени у меня гостей-то драгоценных не было, а может, и ешшо ранее.

Открыла бабка крышку погреба, запрыгнула туда лихо, по-кавалерийски, одно шубуршание пошло из-под пола. А вот уже и голова её обратно высунулась, подмигнула Ивану кривым веком. И вдруг выкинула бабка из ледника своего огромных размеров ледышку – эдакий кокон в полный человеческий рост. Сама вслед за ним вынырнула, подхватила заливхватски и, будто играючи, перебросила с пола да на стол. Кокон грохнулся ледяно на тесовые доски, прокатился по столешнице, всю посуду к краям отодвинул.

Иван аж отшатнулся – такая колобаха к нему подъехала!

А бабка руки с гордостью потирает, улыбается.

– Вот, – говорит, – подивись, Ваня.

А у того аж блин во рту залип: смотрит он на кокон и понять не может, что это такое есть за явление. Встал из-за стола, обошёл да с другой стороны на тот леденец глянул и видит: сквозь ледяную корочку проглядывается голова, руки, ноги...

– Ты чего, нянь, – страшится Иван, – иноплотенинина, что ли, споймала? Или мутана в леднике вывела?

– Тыфу на тебя! – говорит бабка. – Иноплотенянинов на свете нет, наукой доказано. А это не мутан никакой, а самый обыкновенный хомосапистый мужик наземного происхождения, только сильно замороженный. Заморозок называется. Вона, смотри, – и дыхнула ему в лицевую часть своим нутряным старушечьим жаром.

Потёк ледок водицей липкой, и обнаружился под его мутной оболочкой человеческий лик – с бородой, с усами, с чуть седыми бровками. Проступил наружу мужицкий нос картофелиной, обнажились плотно закрытые глаза и тёмные под ними мешочки.

Иван ещё пуще изумился.

– Ты что же, Васильевна, этим набором мне отобедать предлагаешь?

– Предлагаю, – кивает бабка. – Ты не смотри, что мужичонка грубоват да костяст, – я его в простоквашке выкупаю, в уксусе вымочу, в сухариках обваляю – пальчики облизывать будешь!

– Не буду я, – хмурится Иван, – пальчики ему облизывать! Где ж это видано – целого мужика за обедом съесть!

– Зачем же целого! Сколько осилишь. А что не доешь – так я обратно заморозу на зиму или в фарш пушшу. Зачем же добру пропадать!

– Васильевна! Няня! – машет руками Иван. – Я сроду людей не ел и есть не собираюсь! И мужика этого на обеденном столе рядом с блинами видеть мне неприятно!

Бабка руками всплеснула, на скамью присела.

– Ох, Ванятка, не узнаю я тебя. А впрочем, ты ж завсегда своему папаше неслухом был, всегда перечил ему да на своём особом настырничал. Всегда супротив отцовской воли взбрыкивал. Точно!

Иван молчит, всё на замороженного поглядывает: лёд-то на нём тает, по столу стекает.

– Это всё от матери у тебя, – продолжает бабка свои рассуждения. – Материнское, человеческое-то в тебе завсегда сильнее нечистого было. Стало быть, так надо понимать, что взяло оно теперь в тебе верх окончательный?

– Да нет, – говорит Иван. – Я, няня, сам до сих пор не знаю, что во мне верх взяло, да и взяло ли. Есть ли тот верх? Болтаюсь посередке, как в бочке селёдки.

Посмотрел Иван в задумчивости на оттаявшее мужиково лицо, а оно возьми да глаза и открой. Иван дёрнулся от неожиданности, кота вспугнул.

– Ой! – говорит. – Нянь, он глаза открыл!

– Ну да, – встаёт бабка. – Подтаял, вот и открыл.

– Он – что же, стало быть, живой? – изумляется Иван.

– Всяко не мёртвый. Я, Ваня, мазуриков-то не замораживаю, потому как есть во мне, стало быть, гуманизм и гигиена.

– А говорила: зелье не варю!

– Какое ж это зелье! Сам ты зелье. Это в ларьке – зелье, а у меня – нутру веселье...

Не договорила Яга Васильевна – мужик зашевелился, закряхтел, оттаявшим носом шмыгнул. Сошлись Иван да бабка с двух сторон стола, склонились над подтаявшим гостинцем. А он глаза то сощурит, то вытаращит, а сказать ничего пока не может. И губы у него пока синего подмороженного цвета.

– Послушай, няня, – говорит Иван, – а отдай этого заморозка мне!

– Как это? – удивляется бабка. – Ты ж только что баял, что мужиков не ешь.

– Да не есть – ты мне его просто отдай, живого! Разморозь и со мной отпусти. Я тебе, Васильевна, ох как благодарен буду, бусы красные тебе на обратном пути принесу или косынку тёплую. А?

– На кой мне косынка? – говорит бабка, – и бутсы мне не нужны. У меня всех запросов – челюсть бы вставить да избу от сидячки вылечить.

Иван плечам пожал – мол, этого пообещать не смогу.

– А мужика я тебе не отдам, – продолжает бабка. – Коли есть его не будешь, так пусть остаётся до следующего гостя. Вот ешшо какой интерес – ценный менюй разбазаривать!

Иван распрямился, поясок свой поправил. Откашлялся официально и говорит:

– Няня родная, Яга Васильевна милая. Ежели ты мне мужика этого не освободишь, я на тебя обижусь обидкой горькою.

– Ишь, расхорохорился! – фыркает бабка. – Да на что тебе сдался этот сумарь безремённый?! Ты в мужичьи спасатели, что ли, записался? С него всей выгоды-то – колтун да гумус!

– Тем более отдай, раз он такой безвыгодный, – настаивает Иван. – Мне, няня, дорожный товарищ сильно нужен. Одному в пути туго: тоска заедает, трудности на испуг берут; а вдвоём и в скуке веселее, и в беде сподручнее.

Яга Васильевна фырчит под нос, недовольство заглушает, очень ей отдавать съестного мужика не хочется, вот хоть ты в темя плюй!

– Ладно, – бубнит, – пока суд да дело, давай-ка мы его хоть на скамью усадим, что ль, а то весь стол заляпали.

Усадили они мужика, с трудом в пояснице погнули – весь он закоснел, в коконе-то лежавши. Скрипит, как древняя колесница.

– Ох, грехи мои тяжкие, – вторит тому скрипу бабка, воду со стола тряпочкой вытирает. – От такого куска отказывается, с собой увести хочет, на ноги поставить...

Иван её охов-крёхов слушать не стал, прикрыл мужику тряпицей причинное место и оставил размораживаться. А сам пока отошёл в дальний угол, на стены глядит, нянино обиталище рассматривает. Там в уголке фотографический иконостас выставлен: снимки старые, блёклые, чёрно-серые. Всяких лиц вереница, а посреди один большой коричневый дагерротип: Яга Васильевна в далёкой ведьмаческой молодости и рядышком с ней лихой крюконосый брюнет с чубом.

– Это ты с кем, няня? – спрашивает Иван.

Увидела бабка, куда Ваня уставился, и поясняет:

– Это старик мой, Яг Панкратич, муж мой покойный, твоему отцу двоюродный брат. Тебе, стало быть, дядя. На войне погиб, царствие ему небесное!

– Дядя? – удивляется Иван. – Значит, и дядя мой нечистью был?

– Сам ты нечисть! – плюётся Яга Васильевна. – Нечисть! Ишь ты, чистёнок! Да когда супостат на нас клином-то двинулся, никто не разбирался, нечисть ты или крещёный. И нечистый, и человек, и зверь лесной – все как один поднялись землю нашу кормилицу защищать. Мертвяки – и те, случилось, из гробов вставали.

Тут вдруг из мужика размороженного голос пошёл – прямая разговорная речь. Иван и няня к нему обернулись, а мужик сидит, не шевелится, таращится на стеклянный шар с розочкой и говорит медленно, низко, с трудом промёрзлый язык поворачивает.

– Звери о ту пору в целые звериные соединения сбивались, – рассказывает. – Медвежий батальон, лосиная рота. Бобры против танков заграждения в сёлах строили – там, где мужиков не осталось. Много таких случаев известно...

– А ты откуда это всё знаешь, говорливый? – спрашивает бабка. – Воевал, что ли, или в букваре по складам прочёл?

– Было дело, – отвечает мужик, – воевал-воячил, в прицелах маячил.

– Да чё уж говорить! – увлечённо закивала Яга Васильевна. – Кикиморки захватчиков в кусты завлекали, да того их – в болото. Лешие проводниками нанимались – и туда же. Дали укорот супостату, не оплошали. Тяжкое было время, да всё живое друг к дружке липло: все, стало быть, вместе держались. А теперича время провислое, легкомысленное. Каждый сам по себе, каждый за своим забором прячется, частоколом себя отмежевал, нацеплял на окна решётки-сеточки, глядит на небо через дуршлаг! Тьфу, нехристи! То есть... нечисти... Тьфу! Запу-

талась с вами! В общем, недовольна я нынешними-то: заперлись каждый в своей берложке, о ближнем своём не думают!

– Едят друг друга! – вставляет Иван.

– Вот-вот! Едят... тьфу ты! – осерчала бабка, на слове пойманная, рукой махнула. – Не буду его есть, забирай своего пройдошу! И не собиралась лопать такого костлявыша!

Иван приблизился к мужику.

– А зовут-то тебя как? – спрашивает.

– Горшеней зовут, – отвечает тот и сам шеей силится двинуть, застои кровеносный разогнать.

– Ну вот, няня, – корит бабку Иван, – мужик-то заслуженный – воевал, Горшеней зовут, а ты его в простокваше заквасить хотела! И не совестно?

– Ты меня не стыди, мал ещё, – говорит бабка. – Отойди вон в тот угол и пригнись пониже; я этого бородулю сейчас к деятельной жизни возвращать буду. Слабонервных вообще просим удалиться.

Последнюю фразу бабка коту своему адресовала. Уклей, как только услышал, чем хозяйка заниматься собирается, зашипел, хвост ёршиком растопырил и спину выгнул рогаткой. Пшикнула не него Яга Васильевна – он в окно и утёк.

Иван обратно к фотографиям отошёл, а бабка подол за пояс заправила, костяшки пальцев расщёлкала, а глазом на Ивана косит, пояснения ему к фотокарточкам даёт:

– Супруг-то мой лётчиком был, авиатором. Без самолёта летал, на обыкновенной ступе. Помелом винты мистер-шмидтам срезал. Махнёт метлой – самолёт долой. Его партизаны так и звали: Яг-Истребитель. Сколько он вражеских самолётов-то поистребил и заштопорил – не счесть! Погиб в неравном бою. Похоронили его солдаты в братской могиле, вместе с крещёными. А ты говоришь – нечисть! Вот тебе факты, а ты уж сам для себя решай, нечисть он или кто. Нечисть! Это я вот нечисть – смотри, чем занимаюсь, какие силы тревожу, какие будоражу скрытые фигуры, – пальцем пригрозила: – Ну всё, молчи. Начинаю ёкзистенцию.

Дыхнула Яга Васильевна пламенем – сразу темно в избе сделалось. Иван и не разглядит, что там, возле стола, происходит: крутится бабка волчком, бубнит на нечистом наречии, пшикает и плюётся по сторонам, как сковородка. Чуть хотел приблизиться, – так и на него плюнула горячим варевом.

После колдовского сеанса запустила бабка мужика голышом вокруг избы бегать – чтобы согрелся и размял затёкшие члены. Сама тем временем из погреба извлекла его одежду, в полной сохранности: штаны штопаные, рубаха латаная, картуз кривой да сапоги солдатские расхлябанные.

– На, – говорит запыхавшемуся, – забирай обмундирование своё, олимпиец.

После того навели порядок, сели за стол. И мужика оттекшего с собой усадили.

Горшеня ещё не всего себя чувствует, порожняком руками над столом водит. Иван ему блин в правую вложил, помог в сметану обмакнуть, ко рту поднёс. Горшеня тесто жуёт, а сам большими глазами вокруг себя смотрит, заново к миру привыкает. То на Ивана взглянет, то к бабке присмотрится, – чудной мужик, растрёпанный, как воробей после драки.

Иван меж тем тревожится, никак раздумье в себе не уймёт.

– А отец мне о той войне не рассказывал.

– Да отец твой, – оживилась Яга Васильевна, – и знать ничего не может об той лютой войне, он в это время в подвале на цепях отвисал, сны до дыр засматривал. И потом, неизвестно ещё, чью бы он сторону-то принял...

– Ну, няня, это тыхватила! – Иван аж вилкой по столу стукнул.

– Ничего не хватило, – ехидничает бабка. – Я тебе, как на духу, скажу, Ванёк: твоего отца много годков знаю – непорядочный он. Скользкомозглый и в деталях пакостный. Скверного много людям сотворил, да и нечисть от него претерпела изрядочно.

– Всё это в прошлом, нянюшка, – вздыхает Иван. – С ним теперь большие перемены произошли. Болеет он, смерти как избавления ждёт.

– Да что ты! – изумилась Яга Васильевна, отложила блинок, ладони об передник вытерла. – Может, того – притворяется? Может, недоброе замыслил?

– Да нет, нянюшка. Видать, на самом деле припекло. Послал он меня вроде как в экспедицию – иглу свою жизнесодержащую искать.

Старуха рот открыла, охнула.

– На кой ляд? Да неужто... – догадалась и сама тут же свою догадку засурдiniла. – Ох!

– Может, няня, вам известно, куда он эту иголку запропастил? – спрашивает Иван. – Сам-то он не помнит ничего, склероз.

– Скилероз?! Ох, ох, ох... Грехи наши тяжкие...

Встала Васильевна со скамейки, принялась со стола крошки сгребать, все приборы поправила, стол шатнула – будто растеряла что-то важное и собрать не может.

– Так как же, нянюшка, – окликает Иван, – не подскажешь, где иглу заветную искать-то надо? Где её местонахождение?

– Чёрт её знает... – ворчит старуха. – Я в это дело замешиваться не хочу. Не ндравится мне эта сейтуация.

– Да, – размышляет Иван, – про чёрта и отец сам говорил. Только чёрт-то, видать, и знает. Да где ж этого чёрта сыскать?

– Тьфу на тебя! – ругается опять Яга Васильевна. – Совсем сдурел – чёрта искать!

Тут мужик Горшеня в разговор вступил – как в речку с разбега прыгнул. Язык у него ещё нетвёрдо буквы печатает, так он всем туловищем языку помогает.

– Чёрта, – говорит, – искать не надо, чёрт сам завсегда найдётся... А скажите, люди добрые, какое время года нынче?

– Весна, – отвечает Иван. – Самый апрель-месяц.

Горшеня нос свой картофельный пальцами пощупал, усы почесал, бороду обследовал.

– Стало быть, перезимовали, – говорит.

– Ты, Вань, лохматеня этого не слушай, – скрипит Яга Васильевна, – ты меня слушай, я в чертях больше разбору имею. Чёрт чёрту рознь. Чёрта такого, который всё про всё знает, – его так запросто не раздобудешь, далеко он таится – в самом Мёртвом царстве.

– А как в это Царство попасть? Где у него вход?

Бабка бровь насупила, остатком блинка сметану с миски собрала.

– Вот ведь... – чмокает языком. – Не знаю я, как смертному человеку в ту Царству попасть, чтобы жизни своей не лишиться. Ещё никто ведь оттудова не возвращался, Ваня.

– А ежели, к примеру, я всё-таки бессмертный? – размышляет Иван. – Смогу я туда попасть не навсегда, а на время?

– Не знаю, Ванюша, не знаю, – качает головой бабка, – задачку ты мне задаёшь не по моей старушечьей голове. Ты бы для начала природу свою выяснил – в смысле там бессмертности, – а потом уже чертей разыскивал.

Горшеня в окно смотрит, капель губами считает.

– Стало быть, Пасха скоро, – говорит мечтательно. – Радуги увидим, на ярманку пойдём...

Иван встал, шапку с табуретки забрал. Благодарит за приём, за угощение.

– Как так?! – расстроилась Яга Васильевна. – А баньку, а кваску домашнего?

– Некогда, няня, – говорит Иван. – Отцу плохо совсем, а я тут по полкам кататься буду – куда это сгодно! Ты мне лучше посоветуй, в какую теперь сторону путь держать?

Бабка осерчала, но и понять воспитанника смогла. Вздохнула, подол потерябила, говорит: – Ну ты вот чего... ты, Ванюша, к Человечьему царству ступай. Тут у нас в лесах ты вряд ли что по существу узнаешь, тут языков много, да все, как говорится, без костей. А у своего брата, человеческого, и спросить про то-сё не зазорно. Всё ж таки ты на половину-то из ихних... Стало быть, пойдёшь сейчас вот в тую сторону, сначала по тропке, потом тропка в дорожку разрастётся, потом обойдёшь прудик с ивнячком и прямо через бурьян выйдешь на распутье. На распутье том камень указательный располагается. Прочитай на ём, в какой стороне Лесное царство. В Человечье-то царство пройти отседова можно только через Лесное, обогнуть его никак нельзя – слишком обильное.

– Понял, – кивает Иван. – Спасибо тебе, Яга Васильевна, нянюшка моя ненаглядная... Ну я мужика-то забираю, ага?

– Ась? – бабка сначала якобы не расслышала. Да потом махнула рукой – бери добро!

Горшеня старушке поклонился, спиной отмёрзшей скрипнул.

– Эх, спасибо тебе, бабушка, за предоставленный мне, так сказать, внеочередной отпуск. Где б я ещё так крепко отдохнул да выспался!.. Постой, – стал он по сторонам осматриваться, – а ведь со мною дружок ещё был, Сидором кличут.

Иван бабку взглядом как бы спрашивает: никак ещё и Сидор какой-то был? А та ему другим взглядом отвечает: да что ты, милоч, – это, видать, мужик с перемёрзу того – умом заплошал, несуществующее выдумывает!

– Какой такой дружок? – спрашивает хозяйка.

– Да верный дружок – солдатский мешок, – говорит Горшеня. – Сидор по-нашему. Без него мне пути не будет, в нём все мои богатства и утварь перемётная.

Бабка рукой махнула: дескать, обошлось. Велела тут стоять, а сама быстро в подпол слезла, вытащила холодный заплатанный сидор. Горшеня мешку своему обрадовался, обнял, как друга, только что целовать не стал. Раскрутил завязку, руку запустил – щупает босяцкие имущества свои.

– Да всё в целости и сохранности, не беспокойсь, – оскорбилась слегка старуха. – Нужны мне твои сухари с портянками!

– Верю тебе, бабушка, – улыбается Горшеня. – А в мешок полез, потому как соскучился по имуществу своему ненаглядному, затосковал, захотел его рукой потискать. У тебя вот – огород да хатка, а у меня – мешок да заплатка. У каждого своё богатство, бабушка, свой, так сказать, нажив!

– Иди, – толкает его Яга Васильевна, – нажив, покуда сам жив... А что касемо чёрта, Ваня... Шутки-то они шутками, а по существу – всё же чёрт и может чтой-то уместное подсказать. Мы, хотя и нечисть, а живём среди смертных, и обзор у нас, стало быть, такой же – смертный. А чёрт – который не из средних, а ранжиром постарше, – он в других эмпиреях обитает, и видно ему гораздо более здешнего. Так что запросто могёт знать то, о чём мы и не догадываемся. Вот такие мои думки-соображения, Ванюша.

– Спасибо тебе, нянюшка, – кланяется Иван.

– Ну, обложили старую спасибами, как ту сахарную голову! Ступайте, охламоны, хватит в дверях просвечивать!

Сказала – и выпроводила обоих за дверь.

6. Путь-дорога

Покинули дорожные товарищи бабкины сосновые уголья, вошли в толстоствольный лес. Горшеня весь будто в смотрение превратился: то вокруг себя глядит, то внутрь заглядывает. Так в соизмерении себя с окружающей действительностью и промолчал версты две. Наконец говорит:

– Смотри-ка ты, весна-то какая озорная нынче: летом притворяется, солнце в глаза так и пускает. Так и журчит ручьями, обормотка! Что девка лукавая: раздражит, приголубит, а потом – шашть! – только сарафан между веток мелькнул! И снова холодок да вода с неба: беги-догоняй!

И видно, что очень ему на природу глядеть нравится, на Ивана смотреть – тоже нравится, себя в движении ощущать – тоже. С таким аппетитом он окружающий мир поглощает и в себя впитывает, что Ивану даже завидно сделалось. Он и не тревожит пока товарища расспросами, ждёт, когда тот вольного воздуха надышится да сам разговоры зачнёт.

Вздыхнул Горшеня и по-свойски Ивану подмигивает:

– Давненько я яви не видел! Красивая она – явь-то наша, не хуже сонных прикрас, а местами так и покраще того будет. Эх, весна моя, весна – липкий сок берёзовый! Я гуляю допоздна, не вполне тверёзовый...

– Оттаял, стало быть? – вступил в разговор Иван. – Отошёл от зимней спячки?

– Фу, – трясёт головой Горшеня, – на три четверти отошёл, а последняя четвертушка ещё в мороке прибывает, сосулькой скапывает. Да в дороге-то оно быстро разойдётся: тело себя в походке вспоминает, а душа природой оживляется, картинками её и милыми запахами. Ты понюхай, Иван, как пахнет – корою, землёю, таяньем... Нет, во сне таких запахов с огнём не сыщешь!

Остановился Горшеня-мужик, вдохнул полногрудно весенний воздух, потом руки расправил, как аэроплан, – едва не взлетел, такая в нём потаённая жизненная сила всколыхнулась. Поклонился он Ивану:

– Спасибо тебе, Иван, – говорит. – Выручил, одно слово.

– Да чего там! – смущается Иван. – Не за что. Ты скажи лучше, в какую сторону путь свой держишь и какая у тебя путеводная нужда?

– Да в какую сторону, – улыбается Горшеня. – На все стороны путь держу, ни одну не обижаю. А двигаюсь я без особой практической нужды, так – тело своё перекатываю, поле своё перепаживаю. Есть у меня один интерес общественного характера, но дело то несрочное, и в какой стороне его искать, самому мне неизвестно. Поэтому, Иван, ежели ты не возражаешь, пойдём пока вместе, а там – как Бог на душу положит.

Иван и не думал возражать, наоборот, обрадовался – ему ведь именно того и хотелось.

– Я вот только об одном жалею, – говорит Горшеня, – о том, что мы с тобой в баньке не попарились, вес лишней не сбросили перед дальнею дорогой.

– Да какой в тебе вес, Горшеня! – изумляется Иван.

– Какой-никакой, а всё ж таки вес. Голова моя, например, шибко много весит, а руки вообще с драгоценными металлами наравне.

– Дык этот вес не лишней, Горшеня, – в пути он пригодится.

– Только нога у меня хромает, – говорит Горшеня, – да ещё после бабкиного погребка пахнет от меня, как от фугасного снаряда. Этим запахом я всю окружающую лесную действительность порчу.

– Никакого особенного запаха нет от тебя, – уверяет Иван, принюхиваясь, – немного гнилым картофелем отдаёт, не более.

– Точно ли так? Гнилый картофель – не худший вариант. И всё ж таки – чего ж ты от бани-то отказался, Ваня? Мытый, что ли?

– Понимаешь, – говорит Иван, – не было во мне уверенности, что Яга Васильевна в следующий момент не передумает и не решит тебя сызнова съесть. Я её с детства знаю, у неё задвиги разные случаются. Ей лет-то, знаешь, сколько? То-то и оно.

– Неужто, Ваня, она меня и взаправду съесть могла? – как бы осознал Горшеня такую обратную перспективу. – Вроде ж по весне оказалось – добрейшей души старушка, с блинами, с фотокарточками...

– Сама бы не съела, – отвечает Иван, – у неё для того и зубов-то нет. А вот угостить кого-нибудь – это запросто. От всей людоедской щедрости.

– Стало быть, – смеётся Горшеня, – мне с гостем повезло. Другой бы съел с удовольствием, чтоб хозяйку не обижать, и ртом не крикнул.

– Ты зря смеёшься-то. Вот съела бы тебя Васильевна – вот я бы посмотрел, как бы ты смеялся.

– Людям, Ваня, доверять надо, – сказал Горшеня серьёзно. – Без доверия жить на свете нет никакой возможности.

Иван задумался, бровь насупил.

– То – людям. А Яга Васильевна... Она, конечно, няня мне и женщина в частностях хорошая, но как ни вертись, в целом всё одно получается не человек, а нечистая сила. И гости у неё, стало быть, соответствующие. Что же, по-твоему, и нечистой силе доверять надо?

Горшеня не ответил, только поглядел на Ивана удивлённо и некоторое время потом молча шёл, будто о чём-то спросить не решался. Но всё ж таки не вытерпел, рискнул:

– А правда, – спрашивает, – что ты, Ваня, – Кощея Бессмертного сын? Или мне послышалось?

– Правда, – подтверждает Иван, – не ослышался ты. Отец мой – Кощей, а мать – из обычных деревенских людей, Марья-Выдумщица, значит.

Горшеня остановился, уставился на Ивана своими чёрными зрачками, самым внимательным образом его оглядел.

– Стало быть, – взвешивает Горшеня в голове факты, – и ты, Ваня, наполовину того... не совсем как бы человек, а эта самая... сила, прости Господи? – он ещё пронзительней поглядел на Ивана. – А ты сам-то меня... не съешь ли? Не передумаешь?

Иван поперхнулся, закашлялся. Кулаком в грудь стучит, крошку из горла выбивает. А может, вовсе и не крошку, а обиду на такой незаслуженный вопрос! Горшеня понял, что не то спросил, отвёл глаза, стукнул товарища по спине – выбил ту зазорную крошку.

– Прости, – говорит, – это я, конечно, дурость сказал, – вдруг улыбка ему на лицо снизошла: – Испужался я, Иван! Страсть как испужался!

И захохотал переливистым весенним смехом. Иван, как эту гнилозубую улыбку увидел, так все обидки у него тут же исчезли. Так ему смешно стало, что он сначала подхохатывать мужику принялся, а потом и громче него закатился.

Стоят Иван с Горшеней и хохочут, друг за друга держатся! Чуть в проталину не свалились, грачей распугали, березняк растрясли. Ивану смех Горшенин шибко по нраву пришёлся: у себя на родине он ни у кого такого не слыхивал – какой-то омывающий смех, безо всяких подначек, здравый и надежду вселяющий. Да и сам Горшеня – хоть и чудной, а приятный. Вроде простоват, а обо всём суждение своё имеет, слов много знает умных, коверкает их по-своему! По всему видно, что Горшеня – человек надёжный и справный.

– Эх! – говорит Иван, фыркая. – Все внутренности себе отхохотал.

И рассказал Иван новому знакомцу всю свою подноготную – какие могут быть секреты после такого-то единящего смеха! И Горшеню о себе рассказать попросил – кто таков, откуда и прочее.

– Да что рассказывать, – присвистнул Горшеня. – Во мне подробностей мало, одни общие места. Родился в ярме, рос в дерьме. Дневал в срубе, ночевал в клубе. Потом была работа у купца Федота. Затем работишка – у помещика Тишки. Да ещё задал труд фабрикант Крутт. А потом халтурка образовалась – армией называлась. Сражался за троны, транжирил патроны. По будням от царя получал сухаря, по праздникам – плётку, чтоб служилось в охотку. За верстою верста – двадцать лет, как с куста. На двадцать первом годе к строевой стал не годен. Дали о ранении справку и пинок на добавку. Ступай, говорят, восвойся – из окопов в штатские грязи.

– А дальше? – подталкивает Иван.

– Дальше... – вздыхает Горшеня. – Дальше пришёл я, Ваня, домой, а там – полный покат: ни жены, ни детей, хата стоит голая.

– Кто ж их похитил? – нахмурился Иван. – Что за чудище такое беззаконие сотворило?

– Да никто не похитил, Ваня, – ещё мрачнее вздыхает Горшеня. – Голод их в могилу свёл, мор. И не чудище никакое, и не беззаконие; голод тот по закону был – от царя-батюшки подарок. Пока я за него кровь проливал да товарищей своих хоронил в братских канавах, он, отец родимый, со своими премудрыми министрами да благородными генералами семью мою голодом замучил. По большой, так сказать, осударственной нужде.

Остановился Иван, шапку снял с головы, в руках её комкает, понять сей факт не может. Ещё не сталкивала его жизнь с такой лютой несправедливостью.

– Это что же за аномалия! – возмущается он, чуть не плача. – Выходит, что ваши цари с генералами хуже наших нечистых?

– То-то и оно, что ясно, где темно! – отвечает Горшеня.

Весь бледностью пошёл Иван, Кошечев сын. Черты лица заострились, щёки щетиной пошли, да не простой, а с медным отливом. Руки сами собой свернулись в кулаки, увеличились в размерах и прямо на глазах у Горшени стали каменеть. Заскрипели плечи, грудь лязгнула холодным металлическим панцирем. Да ещё и зубы железные изо рта полезли – один другого длиннее!

Горшеня отпрянул от неожиданности, сидором в дерево упёрся.

– Что с тобой, Иван? Али нездоровится?

Иван опомнился, обмяк щетинистым телом, железные зубы за губу спрятал.

– Прости, Горшеня, не предупредил я тебя. Ты меня не бойся, я здоровьем крепок и ничего шибко ущербного во мне нет, просто с рождения природа у меня такая двойственная – от отца Кошея прямая наследственность. Когда я злиться начинаю, во мне нечисть просыпается и наружу выползает в виде эдаких вот странностей. В чудовище превращаюсь, Горшеня.

И показывает товарищу руки свои окаменевшие, с большими серыми когтями. Едва Горшеня на тех руках взгляд собрал, а они уж на глазах обратно человеческий вид обретают: гранитная пористость с них уходит, когти уменьшаются до нормальных ногтевых размеров.

– Вот видишь, – комментирует Иван. – Это я к злобе остыл, и человеческий облик ко мне обратно возвращается, над минутной слабостью долговременный верх берёт.

– Фу ты... – Горшеня пот со лба вытер, картузом лицо бледное обмахнул. – А я уж снова испужался, подумал грешным делом, что с тобой скверное приключилось, что тебя какая-нибудь муха чёртова в зад куснула... Пошли, думаю, метастазы – ой да караул!

– Нет, – мнётся Иван, – всё в порядке, ты не думай... Просто осерчал я на твоих обидчиков, разозлился не на шутку... Ты потрогай, не бойся.

И протягивает товарищу локоть, чтобы тот убедился в его, Ивана, человекоподобии.

Горшеня локтем пренебрёг, от Ивана на три шага отошёл, оглядел его с прищуром, носом по ветру поводил, потом приблизился, растопыренными пальцами потрогал грудь и плечи, ухо к животу приложил. Целую минуту прислушивался, Ивана в неловкость ввёл.

– Эвона как, – резюмирует, распрямляясь. – Извини, Ваня, но тебе с такими симптомами злиться совершенно противопоказано. Ты смотри, Иван, осторожнее, злобу в себе перебары-

вать надо, не поддаваться на её истеричные провокации. Не то аукнуться может в самый неподходящий момент.

– Да как же мне не злиться, когда я злобного Кощеев родной сын? Мне злость на роду написана.

– Всё равно, я бы на твоём месте этими пограничными состояниями не злоупотреблял. Это я тебе как медбрат говорю.

Иван только вздохнул в ответ. Горшения от того вздоха шарахнулся – ещё не совсем, видать, от испуга оправился. Посмотрели дорожные товарищи друг на друга, как бы жалея об утраченной гармонии. До сего разговора так привольно по лесу шагать было, так уютно, а теперь – сплошные нервные дёргания. Ну да делать нечего – раздраю душевному не поддались, побрели дальше. Однако мысли им молчать не дают, сами на свет из ртов выпрыгивают.

– Да, – бормочет Горшения, – видел я, что гнев да злоба с людьми делают, во что их превращают, но чтобы вот так, сверх всякой наглядности, – такое я, Вань, впервые наблюдаю. Ты уж больше, пожалуйста, не злись, не надо.

– Так страшно? – спрашивает Иван.

Горшения остановился, товарищу своему в глаза поглядел.

– Страшно, Ваня. За тебя страшно. Думаешь, это так себе – побыл идолищем и перестал? Ан нет, брат! Это всё равно что рожи строить: напугает кто – так и останешься чудищем на всю жизнь!

– А ты, Горшения, разве ни на кого не злишься? – удивляется Иван. – Разве злобы на тех своих обидчиков не таишь? Разве такое простить можно?

Горшения взглотнул, о своём припомнил в подробностях. Пошёл, прихрамывая, вперёд, а Иван за ним плетётся, вопросы свои дальше сеет.

– Ну что ты молчишь, Горшения? Ты прямо скажи – есть в тебе злоба или вся вышла?

– Есть, – отвечает наконец Горшения. – И злоба есть, и ещё много какой дрянью душа засижена. Только я всему этому управлять собой не позволяю – хватит мне господ да приказчиков, наслужился вдоволь, приказаний идиотских наисполнялся досыта! Теперь я, Иван, сам себе хозяин, сам за себя в ответе перед своей же совестью. Потому и в путь пустился, на месте околевать не стал. Пошёл я, Ваня, искать справедливость – вот куда я пошёл. Очень интересно мне, есть ли такова на свете? Я, Вань, зла ни на кого не держу, я всех понять могу и каждого оправдать пытаюсь, только очень интересно мне поглядеть на эту самую справедливость. Очень мне желательно потрогать её, искомую, вот этими личными моими руками. Такая моя конечная цель на сегодняшний момент времени!

Высказался Горшения – и побрёл дальше. Невесёлым сделалось лицо его, вроде даже постарел сразу же. А Иван стоит на месте ошарашенный. Осилил думу, опомнился, бросился вслед за Горшеней.

– Ты послушай, Горшения, – кричит, – я тебе теперь помогать буду, я тебя в обиду не дам!

– Ты и так мне помогаешь, в обиду не даешь, – говорит Горшения.

– Нет, – не унимается Ваня, – ранее – это не то было; я тебе не по сознательности помогал, а только от скуки. А теперь я будто прозрел, вижу, какой ты есть порядочный человек, вижу, сколько ты несправедливости претерпел! Очень твоя история тронула меня, за самое живое ухватила! Я тебе, Горшения, другом быть хочу! У меня настоящего друга никогда не было, а теперь будет!

Горшения не нашёл, что ответить, только похлопал Ивана по плечу и дальше поплёлся.

7. Прологомены Кота Учёного

Вот уже и вечер не за горами, уже солнце зацепилось лучами за горизонт и лениво покачивается на верхушках сосен – ко сну, стало быть, готовится.

Друзья-путешественники как раз в этот пересменок дня дошли до того самого распутия, где испокон веку располагался указательный камень. Иван и Горшеня сразу признали тот булыжник – нет во всём лесу камня солиднее и представительнее. Только вот ведь какая незадача: главное место на том камне, где должен быть высеченный текст, какой-то паразит отбил, да ещё накалякал что-то белой краской – и где только взял её в лесу! Попутчики пару раз вокруг камня обошли в растерянности, в каракули те вчитываются.

– Без... разницы... – разбирает буквы Иван. – Так, что ли?

Горшеня пальцем белила потрогал, на язык попробовал.

– Кажется, так, – кивает. – Трактуются однозначно: иди куда хочешь – всё одно, без разницы. Видать, фатализ какой-то писал.

– Фаталист? – переспрашивает Иван. – Вредитель! Варвар!

– Может, варвар, а может, и варвара, – кумекает Горшеня. – Но человек не шибко умный.

– Насчёт ума его не знаю, – говорит Иван, – а только маршрут он нам порядком запутал. Кому-то, может, и без разницы, а нам в определённое место надо.

– Не паникуй, Ваня, – спокойно говорит Горшеня. – Надписи читать – оно, конечно, удобно, грамота – вещь полезная; только не всегда тем надписям верить можно. А вот есть ещё другая грамота, которая без букв и препинательных знаков. Сия грамота не менее полезна, а в данном нашем случае именно к ней нам и придётся незамедлительно прибегнуть.

Иван на товарища своего смотрит с восторгом и недоверием. А Горшеня обошел ещё раз камень, с покатога бока на него заскочил, вскарабкался по выступам да моховым наростам на самую его спину и встал там дозорным памятником, руки в боки уткнул.

– Камень, – говорит, – он тем хорош, что на него достаточно залезть. Как бы валун мал ни был, а всё одно человека он выше делает, обзор ему открывает в иной масштабности!

Приложил руку козырьком к бровям и оглядывает округу.

– Ну что там? – не терпится Ивану.

– Да всё то же – красота, – комментирует Горшеня.

– А по существу?

– Красота – она и есть по существу. Что ж ещё существенней красоты может быть! А ежели ты обстановкой интересуешься и насчёт топографических ориентиров спрашиваешь, то докладываю тебе следующее. Вижу, Ваня, дуб высокий. Прямо скажем, царственных размеров дуб, издалека его видать. Сидит ворон на дубу, зрит в подозрную трубу. Вот прямо на меня смотрит. Взглядами мы с ним встрелились. Стало быть, это Лесное царство и есть, – в человеческих царствах вороны такой деловитой наружности да ещё с оптическими приборами не водятся. Значит, в ту сторону нам и следует идти.

Горшеня прыгнул вниз, рукой направление указал.

– Жалко, что эта птица тебя зафиксировала, – качает Иван головой.

– А что такое? Чай, я не шпиён и не вредоносец.

– Да понимаешь, Горшеня, у них там на царстве – моего папаши давний дружок-корешок, драконий змей Тигран Горыныч. Какая-то между ними ссора с папашкой произошла много лет назад, так этот змей до сих пор на папу обиженный. Я подробностей не знаю, но мама мне советовала Тиграна Горыныча стороной обходить, в кумовья к нему не ластиться и отчеством своим перед лесными жителями не козырять.

– Маму нужно слушаться, – соглашается Горшеня. Подумал немного, раненую ногу ладошками помял и говорит: – Ну вот что, друг Ваня... Исходя из вышесказанного, предлагаю сле-

дующий порядок действий. Мы, стало быть, границу в сумерках переходить не будем – от греха подальше. Переночуем в нейтральных кочках. А ранним-ранним утречком войдём в царство тихонько, без шума. И напролом не погрём, а тормознём какое-нибудь попутное животное, и вся недолга. Как говорится, там хорошо, где нас не поймали ешшо.

Намечено – сделано. Как стемнело, пристроились Иван и Горшеня возле большой корабельной сосны, прямо возле комля лагерь во мхах разбили. Всего того лагеря – костёр да ельник. Настелил Горшеня мохнатых веток в три ряда, обустроил лежанки на ночь. Потом разложил дровишки домиком, хворостом приправил, извлёк из сидора специальные охотничьи спички, да так ловко разжёл огонь, что Ивана завидки взяли. Руки у него хоть и сильные, да пальцы не в ту сторону загнуты – ничего взаимопользительного сделать не могут! Достал Ваня из своей котомки круг домашней колбасы, полбуханки черного хлеба, пирожки всякие – хоть эдак свой вклад в общее благоустройство внёс.

– Не, колбасу я не буду, – извиняется Горшеня, – потому как пост нынче. А вот сухариков да пирожков с капустой – это с превеликим удовольствием.

Пока Иван еду раскладывал, Горшеня расшнуровал ветхий кисет, насыпал в газетный квадратик табачку, соорудил самокрутку. А как стал её ко рту подносить, что-то замешкался – рот кривит, нос отводит.

– Странно, – говорит. – И курить вроде как не хочется.

– А ты и не кури, – говорит Иван и пирожок товарищу подаёт. – Чем горло задымлять, лучше пожуй вкусенького.

– И то верно, – говорит Горшеня, сам своему организму удивляясь.

Сложил он всё обратно в кисет, откусил пирожка кусок – вкусно! Иван колбасный круг обрабатывает, а сам такое лирическое замечание делает:

– Получается, друг Горшеня, я матушкин наказ не выполнил. Она мне велела сухомыткой не увлекаться, горячим, значит, не пренебрегать, а я, видишь ли, от горячего отказался, теперь сухпаёк жую. Правильно няня моя говорит: неслух, – потом проглотил кусок и спрашивает приятеля с некоторой мальчишеской жалостью в голосе: – А ты, Горшеня, меня за то не презираешь, что я Кошечев злобного сын?

– Вот дурень, – отзывается Горшеня.

Посидели молча, челюстями пожерновили.

– А это что у тебя? – спрашивает Горшеня, углядев в Ивановом хозяйстве кое-какие подробности.

– Да это так, ерунда, – отвечает Ваня, зардевшись. – Отец ополоумел, всучил мне в дорогу чепухи всякой колдовской.

Стал Иван те волшебные предметы своему дорожному товарищу демонстрировать. Вроде как с неохотой, но и с потаённым хвастовством. И клубок-колобок ему показал, и рожок-сви-стунок представил. Похвастал – и гордо так голову держит, доволен, что удивил Горшеню. А того и правда подарки Кошечевы заинтересовали, обследовал он их придирчиво, в руках помусолил, на просвет проглядел и вывел о них своё учёное резюме:

– Ну эти чудеса нам знакомы. На китайской в своё время много таких трофеев захватили. Ерундовина это, а не чудеса.

Иван покраснел, обескуражился.

– Да я и не хотел брать, – оправдывается поспешно, – только маманька уж больно разошлась: возьми да возьми! Сама, наверное, втихую в мешок-то и запрятала.

– Ну и молодец маманя твоя, – кивает Горшеня. – В походе всякая ерундовина пользой обернуться может. Походному человеку неизвестно заранее, в чём его нужда проявится. Верно? Так что запихивай, Иван, чудеса свои обратно в мешок, авось придёт и их время... А это что такое?

Иван семя Подлунника – третий отцовский презент – в жменю спрятал, от Горшениных глаз отвёл.

– Да это так, мелочь. Потом как-нибудь покажу.

– Потом – так потом, – не возражает Горшеня. – Как говорится, потом – и суп с хвостом, и зуб с мостом. А только у меня, Иван, супротив твоих чудес своё чудо имеется, артельнатиное. Ты, небось, такого отродясь в руках не держал.

Стал он в своём штопаном-перештопаном сидоре копаться.

– Такое, Ваня, чудо, что самому худо, – приговаривает. – Вот, смотри.

И вынимает на свет толстый фолиант в кожаном окладе; листы – скукоженные, как сморчки.

– С виду – обыкновенная книга, – рассматривает Иван. – Таких у моих родителей в библиотеке целый шкаф и ещё одна косая полочка.

– Таких да не таких, – гнездится во мху Горшеня, – я ж говорю тебе: это чудесная книга. Не помню, Ваня, как зовут-то её... «Пролежни», что ли.

– Интересная?

– Нет, Ваня, совершенно не интересная. Просто так – удивительная, не боле.

– Что же в ней тогда удивительного, если она не интересная? – не понимает Иван.

Горшеня поудобнее на хвойном ложе обустроился, ноги выпятил, сидор под бок подтянул и, сладко позёвывая, поясняет:

– Её один учёный кот написал.

Иван не поверил, далее листает – картинки ищет. А картинок-то и нет, лишь иногда таблички встречаются и хитрые многоэтажные формулы.

– Точно кот, – уверяет Горшеня. – Только чудность сей книги не в том, Ваня, заключается, что её кот написал, а в другом совсем. Это ведь книга не простая, а снотворная: кто её читать станет, тотчас уснёт крепко-накрепко!

– Да ну тебя, – возмущается Иван. – Бреешь! Как это – кот написал?

– Ну как! Технически как – не знаю, Ваня; может, диктовал специальному кошачьему писарю, а скорее всего сам лапой нацарапал. Я думаю, жил он у какого-нибудь прохфессора или при монастырских переписчиках, наслушался всякой научности и сам в писатели подался. Только книга, Ваня, скучная вышла. Кот – он и есть кот! Коту бы сказки рассказывать да колыбельные напевать, а не за трактаты учёные браться. Потому как суть кошачьей речи есть одно мурлыканье, из любой хвилософии у него баю-баю получается. Да ты попробуй хотя бы название прочитай – сразу почувствуешь, какая книга чудодейственная!

Иван книгу ещё полистал, понюхал, вернулся к обложке.

– Так, – читает. – Пролего... Проле... гомены естественно вытекающих процессов... – зевает уже, – процессов осознания индиви... диви... дуальностей индивидуумов, а также... а также их классификация в виде тезисов и таблиц... написано учёным котом-архивариусом Лукой Мурычем Лукаму... – зевает уже вовсю, – Лукамовым... в лето от Рождества... от Рождест... ва-а-а-а...

Прилёг Иван, недочитал чуток заглавие. Притулился к комельку и заснул молодецким здоровым сном в два прихрапа на три присвиста.

– Вот я и говорю, – подзёвывает товарищу Горшеня, – только баю-баю и выходит. Удивительная книга-а-а...

Руку протянул Горшеня, фолиант из-под Ивана выпростал, засунул себе под голову. Потом ноги коромыслом раскинул, лицо вверх задрал – вроде безо всяких удобств устроился, а удобней не бывает! И запустили дорожные знакомцы на всю поляну хор имени Свистуна Сопеича Храповицкого.

8. Верхом на сером волке

Поскольку легли рано, то и проснулись соответственно – с первыми пеночками да зяб-ликами.

– Не замерз, Ваня? – спрашивает Горшеня.

– Не то слово, – отвечает Иван. – Зуб на зуб не попадает.

– Айда кости греть! – кричит Горшеня командным сержантским голосом и давай бегать по поляне, голыми пятками ужей пугать. Побегал, попрыгал, за другие упражнения принялся, песни горлопанит – птицам вступить не даёт.

– Ой, весна, моя весна,
Веничек осиновый!
Раскалился докрасна
Прилавок магазинный...

Иван смотрит на него из своей зябкой дремоты, а примкнуть не решается. Наконец встал, поприседал с лентой, наклоны вправо-влево сделал.

– Эх, мать моя природа, мачеха погода! – вопит Горшеня на всю поляну, тело своё в разные фигуры скручивает.

До пота согрелся, присел обратно на ельник. Дышит-шумит, больную ногу растирает, на Ивана с усмешкой посматривает.

– Ну что, – говорит, – одолела тебя кошачья учёность, до сих пор, гляжу, проснуться не можешь?

Иван присел, лицом в росу обмакивается – такие у него водные процедуры.

– Вот какова книга! – гордится Горшеня. – Незаменимая вещь. На войне мы под неё при самой злой канонаде засыпали, а хороший сон для солдата – основа крепости духа. Так что я этой книге многим обязан.

– А ты, Горшеня, где грамоте выучился? – спрашивает Иван.

– Меня, Ваня, сама жизнь выучила, – отвечает Горшеня, а сам портянки с веточек снимает, на сырость шупает. – Сначала согласным звукам обучила, потом уже и гласные преподавала. И уж совсем недавно объяснила, где надо точку ставить, а где и запятая сгодится. А вот насчёт всяких там двоеточиев и многоточиев – это я до сих пор не уразумел. Может, ты мне, Вань, объяснишь?

– Объясню, – неуверенно кивает Иван. – Только как-нибудь в другой раз, сидячи.

И то верно – уже в путь пора, дорога не ждёт.

После отдыха ночного да по утреннему росному воздуху так бойко зашагалось, что сначала и не заметили друзья, как переступили нерукотворную границу. Потом присмотрелись, а деревья пошли вроде как более крупные, трава зеленее стала, мокрости на земле меньше, мусора никакого не накидано, на камнях, опять же, ничего не понаписано – всё как-то не полюдски. Чувствуется полное между лесом и его обитателями взаимопонимание. Даже погода вроде как более мягкая, совсем почти лето. Тогда и поняли Иван с Горшеней, что очутились в Лесном царстве – Зверином, стало быть, государстве.

Вышли молодцы на большую лесную тропу, стали вдаль заглядывать, животину попутную высматривать.

– Вон и зверь на ловца бежит, – говорит Горшеня.

Так и есть: бежит в их сторону матёрый волк-волчище – крупный, серый с подпалинами. Горшеня руку вперёд вытянул, машет пятернёй. Волк бег свой замедлил, остановился возле путешественников, язык высунул, дышит, осматривает людей с ног до головы. Вблизи-то зверь

ещё крупнее оказался: запросто три человека на его спине разместиться могут – знатный волчище! Горшениа вперёд выступил.

– Уважаемый, – говорит волку, – мы, стало быть, к Человечьему царству путь держим, в вашей расчудесной стране мы, так сказать, транзитом. Не подбросите ли в сторону пути следования?

Волк не отвечает ничего, с лапы на лапу переминается, Ивана и Горшениа обнюхивает. Те переглянулись, разговор сызнава начинают.

– Уважаемый волк-волчище, – повторяет Горшениа, – я говорю: путешественники мы. Можем пешком дойти, да нога у меня разболелась шибко, к непогоде, видать. Не подбросишь ли нас докуда не жалко?

Опять со стороны волка никакой реакции, одно бестактное обнюхивание.

– Да, пахнет неважнецки, – соглашается Горшениа, – погребом пахнет. Дело, понимаешь, походное.

– погоди, Горшениа, – на этот раз Иван друга одёргивает, – он же по-человечески не понимает. Видишь?

– Быть такого не может, – Горшениа свои рукава от волчьего носа убирает, сторонится. – Раз царство сие волшебное, то здесь все животные по-человечьи не только понимать, но и разговаривать должны! Порядок такой, не нами установленный!

Волк красным глазом на Ивана зыркнул, слюну уголками пасти выпустил.

– Э, э! – отшагнул слегка Иван. – Ты чего слюнявишься?

А тот вдруг спрашивает нормальным человеческим языком, с небольшим только волчьим акцентом:

– Разбойники?

– Да нет, уважаемый, – радуется Горшениа. – Я ж говорю тебе: путешественники. В Человечье царство пробираемся. То есть, это, – идём.

– Семионы? – спрашивает волк.

– Чего? – не понимает Горшениа. – Какие такие Семионы? Никакие не Семионы, – я Горшениа, а это друг мой Иван. А больше среди нас никого не наблюдается, хоть ты унюхайся!

Волк ещё раз попутчиков обсмотрел, потом молча развернулся и подставил свою широкую спину. Горшениа тут же волка оседлал, поудобнее ногу свою подбитую устроил. А Иван – тот не спешит садиться, у него какие-то сомнения на волчий счёт имеются. Но поддался всё же на Горшенины жесты – уселся на мохнатую спину, дружка своего за талию обхватил.

Волк слюну скопившуюся в землю сплюнул, тронул плавно, как пароход, а потом такую нечеловеческую скорость развил – не горюй, волчица-мать!

9. Царь зверей, да не лев

Недолго мчались молодцы на сером волке; и в себя прийти не успели, как тот с большой тропы свернул в какие-то непролазные дрёмы, пролетел хитрым неведомым маршрутом между колючих кустарников да и выскочил на просеку. Горшения с Иваном ни живы ни мертвы сидят, так в волчью шкуру вцепились всеми четырьмя руками, что от веток хлестких отбиваться нечем – спрятали головы в плечи, сопят друг в дружку, жалеют о начатом.

А волк на просеке скорость-то сбавил да совсем уже на пешем ходу в балочку свернул. Остановился да как гаркнет что-то на зверином наречии – Ивана и Горшеню аж передёрнуло.

А на тот волчий знак стали из-за деревьев появляться разные звери – рыси, лисы, куницы, выдры, лосей пара штук... Кого только нет! Птицы, опять же, гады ползучие – полный гербарий. Вся поляна ожила и наполнилась их звериной речью и пернатым щебетом. Окружили путешественников, глядят на них с любопытством и подозрением, нюхают, лизнуть норовят, да и на зубок попробовать тоже, кажется, не прочь. А Горшения с Иваном сидят на волке смиренно, боятся мускулом пошевелить, всем существом своим осознают бренность человеческого существования.

И вот выходит на поляну бурый медведь, великан лесной, да не из простых шатунов, а важная шишка – воевода тутошний. Осанка у него начальственная, посадка приказная; спина колесом, морда самосвалом, челюсть кузовом; шкура такая сальная, что на утреннем солнце аж переливается перламутром. Расступилась перед ним лесная толпа, подошел этот Потап Михалыч к незванным гостям, осмотрел предвзято и спрашивает у волка со всей медвежьей строгостью:

– Кто, понимаешь, такие?

– Знамо кто, – отвечает волчище. – Разбойники. Семионы.

– Ну?! – медведь брови распрямил, подманил лапой рысёнка какого-то. – А ну-ка, малец, посчитай мне их по головам. Сколько, понимаешь, разбойников этих налицо?

Рысёнок два когтя загнул – счёт и кончился.

– Двое, – говорит.

– Двое? – приглядывается Потап Михалыч. – Да точно ли сосчитал, не сбился ли? Может, всё ж таки семеро их? Перечти-ка ещё разок.

Рысёнок, видать, грамотный был, пересчитывать не стал.

– Да двое их, дядя Потап. Где уж тут семеро – раз, два и обчёлся! Сами посчитайте.

– Я считать не обученный, – нахмурился медведь. – Я воевода, понимаешь, а не счетовод какой-нибудь. Может, хоть пятеро их, а?

– Двое, – напирает рысёнок, не торгуется со стариком ни в какую.

Тут у Горшени голос обозначился. Освоился он в непривычной ситуации и понял, что пора уже предпринимать что-нибудь срочное, какое-нибудь выяснение начинать. Слез он с волка, Ивана за собой стащил.

– Постойте, – говорит, – господа заветные, звери заповедные! Ошибка вышла, недоразумение. Мы не разбойники, не Семионы. Путешественники мы, в Человечье царство следуем, через вашу расчудесную страну проездом проезжаем. И не семеро нас вовсе, а всего-навсего двое...

Медведь рыкнул на мужика по-воеводски, лапой махнул – цыц, дескать!

– Ведите, – говорит слугам своим четвероногим, – этих незертиров к царю-батюшке, будем с йими, понимаешь, на самом высшем уровне разбираться.

И вот ведут лесные жители незваных гостей неведомо куда по своим потаённым тропам. Впереди волк выпшагивает, за ним медведь переваливается, дальше – пленники, а за ними – вся

разношёрстная братия. Только вот какое дело: чем дальше в лес углубляется процессия, тем труднее Ивану и Горшене дышать становится – такая в воздухе невообразимая вонь распространилась, что хоть нос прикуси! И с каждым шагом эта химическая атака всё усиливается. Иван головой вертит.

– Что это за запахи такие сугубо тропические? – спрашивает.

Горшеня говорит:

– Похоже, у них либо прямо в царском дворце слон сдох, либо же новый сорт сыра испытывают...

Только никакого дворца в Лесном царстве отродясь не было, как, впрочем, и сыра. Всё здесь было запросто, по-природному: вместо генералов – хищники мохнатые, вместо народа – летуны пернатые, а вместо царского дворца – пышная лесная поляна.

Вывели горе-путешественников на ту поляну, велели остановиться с краю, чтобы чело-вечьими грубыми подошвами ягодную красоту не затапывать.

– Вот так поляна, – присвистнул Горшеня, – что твой аэродрон!

Поляна и вправду знатная была – ровная, цветущая, утоптанная; да ещё посреди неё круглое озерцо имелось – государева поильня. Но насладиться этой красотой ни у Ивана, ни у Горшени никаких сил нет, ибо давешний забористый запах здесь не исчез, а наоборот, достиг своего мучительного апогея: глаза разъедает и глотку скребёт нещадно, будто напильником! Горшеня-то в своей жизни всякого нанюхался, поэтому ещё более-менее держится, а у Ивана прямо слёзы из глаз потекли.

А тем временем медведь-воевода подтянул жировые складки да и припустил во всю медвежью припрыжку в дальний соснячок. Рыкнул там что-то на своём наречии – сосны в ответ раздвинулись, и показалась среди них огромная змеиная башка с мохнатыми непричёсанными бровками.

– Поймали незертиров, ваше величество! – докладывает медведь. – Привели в целостности и сохранности!

Доложил – и обратно к пленникам отбежал, дышит с пристрастием, неровно. На морде у него написано, как он собой доволен.

Примялись сосны в обе стороны, и змей Тигран Горыныч собственной своей персоной пошёл выползать на поляну. Тут сразу и понятно стало Ивану с Горшеней, кто такой таранный запах издавал во всём лесном радиусе.

– Вот кому в бане-то помыться не помешает, – говорит Ивану Горшеня вполголоса. – Экое, брат, анбре! На фронте специально на её случай противогазную масочку выдавали. Но поскольку нами такой случай не предусмотрен...

Не договорил Горшеня – закашлялся. А когда змей из сосняка вылез полностью и предстал во всей своей красе, Иван с Горшеней про запах даже забыли на время. Но не размерами своими гигантскими ошарашил Тигран Горыныч путешественников, не тигровыми полосами и мохнатостью, – куда больше поразил их донельзя удручающий его внешний вид! Шкура не чёсана, грязь комьями на разных местах висит-болтается, морда небритая, как у мопса, в глазах горсти какой-то мутной слюды – не царь, а помойная куча с бровями! И голова-то у змея имела всего одна, единственная! Вместо остальных торчали из туловища, будто сорная ботва, разной длины культи да обрубки такого же необработанного вида, как и весь прочий змеиный фасад.

– Единоглавый! – охнул Иван и тут же нос свой пальцами защебил, поскольку подул ветерок и пахнуло от государя слаще прежнего.

Змей свою рыхлое тело к озерцу подтянул, разложил его части по равнинкам да бугоркам, откашлялся, кудлатую бороду грязными когтями прорядил.

Горшеня Ивану на ухо шепчет:

– Давай у этого сырка спросим насчёт чёрта, который нам нужен. Сдаётся мне, что он про него обязательно должен знать. Они, небось, на одних дрожжах взращивались – дрожжевые, понимаешь, братья.

А Ивану уже не до чёрта – он от неравной борьбы с запахом вдруг позеленел весь и лицом потерялся. Видать, случился с ним осязательный шок.

– Ты носом дыши, – толкает его Горшеня, – носом завсегда лучше дышать, чем ртом: на дух противнее, зато гадости внутрь гораздо меньше попадает!

Иван от безысходности Горшеню послушал, сделал носом глубокий захват воздуха, пошатнулся, а затем будто даже взбодрился и повеселел. Зрачки у него расширились, и в лице возобладал какой-то нездоровый синюшный оптимизм.

Пока друзья с дыханием экспериментировали, мохнатый воевода вытянулся перед государем во фронт.

– Вот, ваше лесное величество, – докладывает, – добыли языков, понимаешь!

– Языков? – басит звериный царь. – Языков я люблю, благодарствуйте.

– Рад стараться! Служим живой природе! – рапортует медведь и задом отходит в сторонку, чтобы картину не заслонять.

А змей ретироваться ему не позволяет, спрашивает со всей государевой строгостью:

– Кто такие? Откуда взялись?

– Разбойники, – снова вытягивается Потап Михалыч. – Семионы!

– Почему думаешь, что разбойники?

– Потому как людской породы существа, а люди, ваше лесничество, они все есть чистой воды разбойники. От них в лесу завсегда один, понимаешь, урон!

Змей когтистыми пальцами по земле постучал, в крошку целый пук дёрна перемял – поразмышлял, значит. Смотрит на доставленных. А те до сих пор слова вымолвить не могут, с прихваченными носами стоят.

– Однако их тут двое, – недоумевает царь-змея.

Медведь чуть помедлил, но согласился.

– Так точно, ваше величество, – говорит, – около того.

Тут Иван всё ж таки нос разомкнул, головой дёрнул, как жеребец, и понесло его ретивое.

– Никакие мы не разбойники, – говорит он и шаг вперёд делает, – а уж тем паче не Семионы, за которых нас тут все принимают! Меня, например, Иваном зовут. А ты кто таков будешь, удивительное существо?

Змей от такого обращения остолбенел, медведя лапой отодвинул на край поляны: сам, мол, разберусь со смутьяном, без всяких мохнатых свидетелей.

– Я, – объявляет снисходительно, – Тигран Горынович Первый, всех зверей единоличный царь.

А Иван всё больше наглеет, прямо на рожон прёт – сломила его, видать, химическая атака!

– А разве царь зверей – не лев? – спрашивает развязно.

– Львы у нас не водятся, – отвечает Тигран Горыныч.

– Так ведь и драконы не водятся!

– Я не дракон, – терпеливо объясняет животное. – Я тигровый полосатый змей редкой ископаемой породы, северного разновида. Единственный в своём роде.

– Стало быть, тебя охранять надо? – интересуется Иван.

– А как же! – соглашается Тигран Горыныч и с явным удовольствием рассказывает об этом подробнее. – Конечно. Давеча даже научная экспедиция приезжала, мерки с меня сняла и в какую-то Красную книгу записала. Даже отпечатки попросили на память оставить. Да... – змей гордо раскланялся на разные стороны, а затем как-то резко поник заповедной своей головошкой. – Только... Оказия вышла, однако: те экспедиторы самозванцы оказались, воры обык-

новенные и разбойники, подлое человечье семя! Угнали у меня, срамоеды, коврик-самолёт! А я без него на дальние расстояния передвигаться неспособный, отяжелел с годами, турбулентность потерял... – вдруг вскинулись бровки змеиные: – Да уж не ваши ли дружки-сподвижнички?! Небось в одной шайке состоите!

– Мы, государь лесной, ни в какой шайке не состоим, – отвечает Иван, – а наоборот даже являемся лицами уполномоченными. И явились мы к тебе, государь, не с воровством и подлостью, а с дружескими посланиями. Отец мой батюшка велел тебе на словах привет передать и засвидетельствовать своё почтение.

Змей насторожился.

– А кто ж таков у тебя отец-батюшка, – спрашивает, – коли он моей царственной персоне смеет свойские приветы передавать? По какой такой линии сиё панибратство? Какого он роду – княжеского или, может быть, королевского?

– Не княжеского и не королевского, ваше лесничество, – говорит Иван весомо, – а только все князья да короли ниц перед ним падают. А роду он мужеского, и зовут его Кошей Феофаныч Бессмертный. Слыхал о таком, государь?

Тигран Горыныч удивился несколько, посмотрел на Ивана испытующе, голову приблизил, глаза прищурил. А потом как расхохочется – будто камнепад с Гималаев сошёл. От этого смеха даже земля слегка задрожала, птицы любопытные вспорхнули и отлетели подальше, а ворон, который на дубу сидел, трубу свою выронил.

– Вот те на! – умерив смех, говорит змей, – вот так встреча! Вот смех – Кошейка Грязной привет мне передаёт! А ты, стало быть, сынок его – Ивашка Кошечев! Ну, умора! Ну, курьёз!

Иван такой реакцией недоволен явно, даже щёки надул и голову набычил.

– Это в чём же, – спрашивает, – курьёз и умора?

– А в том, – уже без смеха отвечает ему Тигран Горыныч, – что папаша твой числится у меня в первейших обидчиках, и имею я на него зуб коренной, который уже годиков, почитай, двадцать как растёт и ноет. И, стало быть, то, что ты этому негоднышу родным сыном приходишься, отнюдь вину твою не смягчает, а наоборот!

– Какую вину-то? – не понимает Иван.

Он, видать, к логике уповаает, а Тигран Горыныч к другим наукам склоняется, не к таким точным.

– Понятно какую, – объясняет, – яблоко от яблони недалече падает.

Тут Иван несколько растерялся, даже и не знает, как дальше с Тиграном Горынычем разговаривать, чем ещё его увещевать. Сдулся в один момент его химический запал, исчезла героическая живинка. Теперь ему даже страшновато сделалось за дерзкое своё выступление.

– Ну чем же тебе, государь, – разводит он руками, – батя мой так наперчил?

– Чем?! – рычит змей. – Да он был мне друг и сотрапезник, а потом забыл, стало быть, своего сотоварища, обабился, сучок фанерный, дружбу мужскую под откос пустил! Предал он меня, а предательство – самый тяжкий грех!

– Да нет же, государь, – оправдывается Иван, – он всегда тебя помнил, всегда в пример приводил!

– Не ври, хлопец! – рычит змей. – Батяка твой – свинтус порядочный, сущность у него неблагодарная. Он же, пестик дизельный, меня на свадьбу свою не пригласил! Представляешь ли? Всех пригласил, а меня – самого своего закадычного дружка – профутболил об штангу! Не забуду никогда ему такой обиды!

Взвыл Тигран Горыныч от негодования, аж огнём в сторону леса шугнул – ветки верхние опалил. Потом вдруг улыбнулся Ивану и спрашивает ласково:

– Ты, Иван Кошеич, чего больше любишь – грибки солёные или горький хрен?

Ваню такой вопрос обнадёжил, силу ему придал. Он и отвечает:

– Вообще-то грибы я больше люблю. Особенно рыжики. Но и к хрену тоже уважение питаю, если, конечно, он ядрёный и правильно приготовленный.

– Хорошо, – кивает на то Тигран Горыныч и удовлетворённо чавкает. – Вот и договорились насчёт завтрашнего меню.

Привстал змей на задние лапищи, голову к лесному своему народу направил и объявляет громогласно, чтобы до каждой мухи его царственное слово дошло:

– Повелеваю царской милостью. Завтра утром мы, Тигран Горынович Первый-Единственный, соизволим устроить торжественный завтрак. На повестке дня следующее блюдо: два человека разбойничьего происхождения с солёными рыжиками и с хреном. Есть буду лично. Царь всех зверей, и приятного аппетита!

10. Тигран Горыныч и Горшеня-мужик

– Со мною как будто уже было такое, – замечает Горшеня.

Иван обратно к нему отшагнул.

– Чего делать будем? – спрашивает тихохонько.

– Ты уж, чего мог, сделал, – говорит Горшеня. – Теперь моя очередь мосты наводить.

– Какие мосты! – шепотком возмущается Иван. – Его надо силой брать, последнюю голову рубить – и в дамки!

– Во-первых, ты с ним не справишься. А во-вторых, это ж действительно редкий экземпляр, возможно, последний из своего вида, могику! Природу, Ваня, беречь надо. Попробуем с ним договориться.

Змей услышал, что Иван с мужиком шепчется, перевёл взгляд на Горшеню.

– А это что за загвоздок? – спрашивает.

– Я не загвоздок, – радостно отвечает Горшеня. И вид у него такой, будто он очень доволен, что государь лесной на него наконец-то своё внимание обратил. – Я Горшеня, мужик.

– И чего же ты, мужик, лыбишься? – спрашивает змей.

– От радости, – отвечает Горшеня.

– Чему ж ты рад? – не понимает Тигран Горыныч.

– А я судьбе своей рад, твоё лесничество. Вчера ещё кто я был? Неизвестно чей обед. А сегодня я кто есть? Царский завтрак! Эвон как меня фортуна лизнула!

Иван на Горшеню смотрит удивлённо. Не может понять, юродствует он или искренне такую чушь несёт. Может, тоже лишнего нюхнул? А Горшеня на Ивана не глядит, а продолжает бодрым голосом со змеем разговаривать.

– И тебе я, твоё лесничество, сильно за такое повышение благодарен, даже и мечтать о подобном не смел. С превеликим, как говорится, удовольствием к тебе в глотку завтра залезу, и товарища своего захвачу – ты на этот счёт не волнуйся, считай, что мы уже у тебя в желудке варимся. Как говорится, от стола стола не ищут! А ещё говорят: еда едока видит издалека, а едок еду чувствует и за версту.

– Такие слова мне по нраву, – говорит Тигран Горыныч, и пасть его в жабью улыбку кренился. – Ну говори ещё, перебивать не буду. Хороший мужик – правильная еда.

– Говорю ещё, – соглашается Горшеня. – Ещё хочу тебе, твоё лесное величество, высказать свою обеспокоенность. Дело в том, что у меня правая нога не шибко вкусная, некачественная, с брачком, право слово. Начинка в ней имеется свинцового характера. Боюсь, как бы ты, родимый, зубов не повредил.

– Это ты не бойся, – отвечает змей. – Свинец – металл мягкий, легкопереваримый; и не такое едали, бывало, и ордена попадали, и памятные медали. А то и запасные детали! И ничего, как видишь.

– Ну слава тебе, Господи! – радуется Горшеня. – Раз так, тогда я за тебя, твоё лесничество, спокоен. Как говорится, еда за едока ответственности не несёт.

Сказал – и вроде как назад отступил, вроде как речь свою закончил. А Тиграну Горынычу почему-то с Горшеней очень даже понравилось разговор вести, это тебе не то что с Иваном, вражьи отпрыски! Царь мужика когтём подзывает, просит ещё что-нибудь обсказать.

– Продолжай, – говорит, – мужик. До завтрака ещё времени много, целый вечерок и полная ночь.

– А чего продолжать-то! – разводит руками Горшеня. – Хотя... Оно, конечно, можно и продолжить. Тем более что у меня к тебе, твоё лесничество, сугубо личный разговор наметился.

– Когда же это он у тебя успел наметиться, мужик?! – дивится змей.

– А прямо сейчас, твоё лесничество. Так говорить, али ты передумал? Я, конечно, могу и помолчать до завтрака, но уж больно разговор этот полезный.

– Для кого – полезный? – не понимает Тигран Горыныч.

– Для твоей преважной персоны – сугубо личный, оздоровительный разговор. В таком вот масштабе.

Тигран Горыныч насупился, башку свою громадную к самому Горшениному носу поднёс, а Горшеня стоит как вкопанный, ни ухом не поведёт, ни усом не дёрнет.

– Да ты, что ли, лекарь? – спрашивает змей с осторожностью.

– Бывало и лекарь, бывало – фельдшер, а больше – ветелинар. По животной, стало быть, части дока, заморский звериный парикмахер и вошкодав.

– Постой-погоди, – заинтересовался Тигран Горыныч, глазами в разные стороны позыр-кал. – Что ты там насчёт вошек говоришь?

– Не я говорю, факты говорят, – отвечает Горшеня спокойно и с достоинством. – Говорят, что как укротитель блох я совсем даже неплох, а как заклинатель вшей – дык ешшо хорошей.

Тигран Горыныч аж закашлялся. Горшеня ему пальцем показывает, чтобы он ухо своё к его мужицкой голове подвёл, глазом подмигивает и на окрестное зверьё косится. Змей его намерения понял, ухо прямо к месту подкатил – на, мол, говори.

– Да ты, твоё лесничество, не бойся ничего, – говорит Горшеня приватно. – Я ж все твои промблемы насквозь вижу. Сейчас я тебе всё расскажу, а там уж ты сам решаешь, что тебе делать.

– Ну? Говори, ветелинар, – кивает Тигран Горыныч. – Только в самое ухо говори, блюди мою врачебную тайну. Мало ли там кто чего услышит – а я ведь персона царственная, мне промблемы напоказ выставлять не след.

– Ага, – кивает Горшеня и говорит тихо, так что, кроме змея, только Иван речь его слышит: – Так вот что я тебе, твоё лесничество, скажу. В целом ты зверь здоровый, но в частности наблюдаются некоторые нюансы. Сердце, например, у тебя доброе, голова – та, которая налицо, – светлая. А вся твоя злобность, хищность и кровожадие есть результат внутреннего твоего расстройства и личной твоей, так сказать, обделённости по мужеской части.

Горшеня сделал паузу, потом взял ухо змеиное за края и, морщась от запаха, голову свою в него углубил.

– Попросту говоря, – шепчет, – пара тебе нужна, твоё лесничество. Мужик без парочки – что нуль без палочки. Понимаешь?

Тигран Горыныч рёвом взревел – головой мотнул, Горшеню вбок метнул, сосну лбом боднул. Иван встревожился, в боевую стойку встал, кулаки приготовил. Только видит: змей обратно голову к Горшене воротил и шепчет теперь ему в ухо:

– Ну и глаза ты, мужик! Ветелинар, одно слово! В самую душу мою заглянул, самую большую мою тоску словом выразил! Уууу-ух!

И замотал головой, лапой землю боронит, хвостом озерцо мутит. Видать, действительно зацепил Горшеня змея за самую нарывную занозу. Чуть успокоившись, Тигран Горыныч снова к Горшене обращается:

– Ну а что же мне делать-то, ветелинар?

Горшеня загривок почесал, губой шваркнул.

– Тут, – говорит, – рецепта простая. Найди себе невесту – да ступай под венец. Или как там это у вас, лесных жителей, делается?

– Э-э-э! – осклабил пасть Тигран Горыныч. – Сказала кума, что корь – не чума! Да я бы давно, мужик, подругой-то обзавёлся б, давно бы уже от одиночества огнём не пыхтел, да только кто ж мне в жёны-то сгодится! Где ж я такую пару найду, чтобы и по размеру подошла и по характеру? Нет на белом свете таких рептилиев, избылись все, я последний мужской экземпляр остался – бобыль бобылём! А стало быть, нет мне в жизни счастья, и удел мой – одинокая лесная старость!

– Погоди о старости говорить, твоё лесничество, – шуруется Горшеня. – Ты змей в самом расцветном соку – орёл, а не змей! Да что там орёл – буревестник! Чтоб такому горячему молодцу да невесту не сыскать!

Тигран Горыныч глянул на Горшеню строго – чуть не задавил взглядом.

– Ты со мной не шути, ветелинар. Я ведь и слизнуть могу, не дожидаясь завтрака!

– Не шучу я, твоё лесничество, – продолжает Горшеня. – Откровенно тебе говорю как ветелинар со стажем: давно бы ты уж в мужьях числился, коли б ты одну необходимую для этого церемонию проделал. Одну, так сказать, мероприятность.

– Чего ты тянешь-то, ветелинар! – воет Тигран Горыныч. – Говори, рыба лопасть, не мытарь внутренности!

Горшеня поясок пальцами помял, сплюнул лишнее и говорит степенно, по-докторски:

– Тебе, твоё лесничество, помыться надо. Слишком уж увесисто от тебя пахнет. Смердишь ты, попросту говоря, твоё лесничество. С таким запахом – не невест опекать, а врага допекать, право слово.

Тигран Горыныч от смущения отполз чуток, в сторону дышит. Потом брови нахмурил, зрачки на Горшениной физиономии свёл: фокусирует свою лютую строгость, так и жжёт взглядами, так и мечет. А с Горшени – как с гуся вода, он всё свою научную линию гнёт и змея сквозь сложенные кольцом пальцы, как в лупу, рассматривает.

– Опять же блохи у тебя – что те свинки морские, такой в них объём и упитанность. Откормил паразитов – хоть сейчас на пастбища.

– А ты и от блох рецепты знаешь? – всё более пристрасно вопрошает Тигран Горыныч.

– А как же не знать! И от блох, и от вшей. Мы с ними старые приятели, на фронтах вместе держались.

Сказал – и в прежнюю независимую позу. На соснячок глядит, сорок считает. Тигран Горыныч забеспокоился, хребтом заводил, жабы раздувает, что кузнечные меха, – есть, похоже, у него в Горшене великая необходимость.

– Послушай, ветелинар, – начинает он как бы издавека, – у нас до завтрака ещё уйма времени остаётся. Может, нам того... баньку организовать? Угодил бы мне, царю, побанил бы по-научному, а я б тебе назавтра поблажку – жевать бы не сильно стал, вползуба.

– Выгодное дело, – примеряет Горшеня. – Да мы за выгодой не гонимся, не стяжали чай. Я тебя, твоё лесничество, и без поблажек обработаю по полной банной программе, если есть на то твоя воля.

Иван Горшеню железным локтём в бок тычет – ты чего, мол, делаешь? А Горшеня только тот бок почёсывает, Ивану подмаргивает да дальше со змеем переговоры ведёт. Точнее, Горшеня-то гордо помалкивает, а змей сам к нему ластится: лапой в сторонку отодвинул, на совсем интимный тон перешёл.

– Есть, есть на то моя воля, ветелинар! – говорит. – Я страсть как по чистоте соскучился, ужас как помыться хочу! Организуй ты мне баньку – пусть хоть не царскую, но чтобы честь по чести. Мои хлопцы – народ дикий, малоразвитый, только и сумели, что царство обстроить, а что до бань и всяких там санаториев – тут у нас лапы короткие. Моемся по-старинке: кто в песочке, кто в ручейке, кто вообще языком скоблится. А мне, понимаешь, в песочке-то – зазорно, всё ж таки царь должен чин блюсти! Вот и запустил я себя, довёл до полной безобразности. Ну? Дык как тебе моё предложение, ветелинар? Я слово своё насчёт ползуба держу, жевать несильно обещаю.

Горшеня подбородок чешет, ухом ведёт.

– А Ивану, товарищу моему, поблажку дашь?

Схмурился змей.

– Нет, – говорит. – Иван – мой противник принципиального значения, у меня с ним счёты.

– Ай-ай-яй, твоё лесничество! – качает головой Горшеня. – Счёты у тебя – с папашей, а сын-то при чём? У нас, у людей, сын за отца не отвечает.

– Не отвечает? – удивился змей.

– Не-а.

– Эх, ладно! Давай, ветелинар, лапу – считай, договорились.

Щелкнул змей по Горшениной ладошке своим хвостом-хлыстом – согласился, стало быть, обоих приятелей завтра вползуба жевать, щадяще.

11. Лесная баня

Откашлялся Горшениа в кулак, осмотрел окрестности мастеровитым взглядом.

– Так-так, – говорит. – Это что такое у вас? Озерцо? А в нём, стало быть, водица? Ну что ж, сгодится. А это у вас что тут понавалено? Никак это камни – булыги да валуны? Они-то нам и нужны.

Засучил Горшениа рукава по самые плечи, плюнул на ладошки и принялся среди звериных жителей руководить да начальствовать – как их лесничества полномочный банный представитель. Бобрам да выдрам велел дров и хвороста насобирать, лисам да барсукам – костры развести, кабанам – камни подтаскивать да в костры валить, чтобы нагревались донельзя. Когда камни раскалились докрасна, отдал Горшениа лосям приказание копытами эти камни в озерцо спихивать. Нагрелось озерцо от раскалённых камней, забулькало, забурило, ключами сизыми вспенилось, крупным пузырьём пошло.

А Горшениа дальше зверью задачи ставит: зайцам да белкам задаёт лыка надрать да в мочало измочалить, четырём медведям – самым крупным – велит сухих берёз накорчевать, сложить их в пучок по три-четыре ствола, чтобы теми вениками царские бока змею охаживать, когда он в воду войдёт.

– Есть у меня дегтярного мыла два куска, – говорит Горшениа и мешок свой развязывает. – Маловато, конечно, да кто ж знал! Ну да это ничего, мы мыло-то на тёрке натрём да в воду крошим. На турецкой, помню, я однажды целый батальон такими же двумя кусками вычистил, а ты, твоё лесничество, почитай чуть меньше того батальону будешь, – и тише, в ухо Тиграну Горынычу, добавляет: – Правда, по запаху ты на весь дивизион тянешь. Да ничего, справимся...

Снял с себя рубаху, настругал о сосновую шишку мыла дегтярного в подол, созвал сорок, чтобы взяли рубаху, да всю ту труху в озеро сверху вбросили. Сороки всё в точности исполнили, рубаху обратно хозяину принесли. Зашлось озеро мыльной пеной – одно загляденье!

А тем временем уже смеркаться стало.

– Ну, твоё лесничество, – кричит Горшениа, – давай! Заныривай, милый, а мы тебя обрабатываем по чистой совести! Будешь, голубчик, не змей – огурчик!

Стронулся Тигран Горыныч с места, понёс свои грузные тела в воду. Кувырнулся с берега – озерцо чуть из берегов не вышло. Нырнул с головой – всех подданных своих кипятком обдал с головы до пят. Повалил к небу пар от змеиной туши, окружная листва испариной покрывалась.

Горшениа воду из глаз кулаками выдавил, носом отфыркнулся и давай командовать на манер полководца. Махнул рукой – медведи с флангов зашли и принялись змею вениками волтузить; махнул другой – гуси в воду попрыгали, лапами заработали, пошла пена знатная, густая; обеими взмахнул – лоси новых камней в озерцо залягнули, пылу-жару подбавили. Что надо баня получается!

Горшениа Ивану говорит:

– Доставай, Ваня, свой рожок чудесный – будем сейчас из Горыныча блох да прочую живность изымать. Вставай на бережок, бери вот этот мешок – собирай насекомых, как двинулся. Да смотри, не зевай, а то в рот залетит кто-нибудь!

Сам скинул одежду, взял мочало, разбежался, прыгнул Горынычу на спину. Поймал в шерсти самую жирную блоху – с котёнка, – схватил её за загривок и говорит:

– Ну что, юрцы-молодцы! Довольно я вас в своё время покормил в окопах-то, сослужите теперь и вы мне службу добрую: скачите на звук рожка, да смотрите, чтоб не мимо мешка!

И дал Ивану отмашку. Тот и заиграл полный сбор. Блохи как попёрли – со змеиной шкуры да прямо на берег! Так стали прыгать, что у Ивана в глазах зарябило; едва успевает он мешок подставлять, бегают по берегу, как вратарь по футбольному полю, подачи принимает.

А Горшеня вычёсывает змеиные космы да приговаривает:

– Эвон какую ты оранжерею на себе развёл, твоё лесничество! Грибов-то! Мухоморов-то! А шишек-то! Жундгли, одно слово!

Вычесал корягой всю фауну, скатал мочало и давай Тиграну Горынычу горб надраивать. Горыныч пыхтит, лапами шелудит, хвост торчком из воды высунул – жарко ему, мыльно, единственная голова кругом пошла!

– Держись, – кричит ему Горшеня, – не ёрзай, твоё лесничество! Сейчас я тебе верхнюю часть намылю, а уж подмышки и прочие зланные места – это ты сам соскабливай, лапками; чай я не водолаз и не супмарина какая!

Иван ловлю насекомых закончил, весь мешок этой животиной набил под завязку. Завязал узел, одежду скинул да айда к Горшене на помощь. А у змея первый испуг прошёл, захорошело ему, уселся он посреди озера – сам себя мочалом под мышками трёт, от удовольствия млеет. Горшеня с Иваном на шеях пустых уостились, велели глаза закрыть, чтобы мыло не попало, и принялись гриву змею месить. Горшеня промежду делом спрашивает:

– А где ж ты, твоё лесничество, поголовье-то своё растерял?

Тигран Горыныч отвечает ему по-свойски, как на духу:

– Да в разных местах: какие в кустах, а какие и на открытой местности. А последнюю-то головушку берегу как зеницу ока. Последняя башка – она к телу ближе всего. Через этот факт я, ветелинар, и лютую так беспощадно, спуску не даю никакому людскому представителю, пресекаю всякие поползновения, так сказать, в зародыше. Потому как голова у меня самая что ни на есть последняя осталась, запасных нету больше.

Горшеня намыливает, скребёт, пеной жонглирует, да о разговоре не забывает.

– А как же ты, твоё лесничество, в таком разрезе жениться подумываешь? Влюбишься – последнюю башку потеряешь! Женщины – племя карусельное, закружат – сойти не сможешь.

– А пуцай, – хлопает змей лапой своей по водной поверхности. – Для хорошего дела всё ж таки и головы не жалко! Башку потеряю, зато род продлю!

А Иван тем временем ухо-то змеиное пригнул, чтобы тот слов его не услышал, и шепчет Горшене:

– Пора нам ноги уносить! Давай-ка сейчас намылим ему веки – да и поминай как звали. Уже потемнело – уйти сможем.

– Ты чего? – диву даётся Горшеня. – Кто ж работу на самой середине бросает! Нет, брат, я бежать не намеренный, у меня дело есть – и я в нём весь.

Иван нахмурился слегка, но возражать не стал. Ладно, думает, подождём. И стал дальше намыливать.

– Эй вы, медведи хвалёные – носы палёные! – кричит Горшеня командным голосом. – Что вы его вениками гладите, как халдей паву! Хлещите его, родимого, без жалости – чтоб окраску поменял! Царь он вам или не царь? Так вот и дубасьте его по царским заслугам, припомните ему всю его царственную самодурь!

Медведи сразу смекнули, чего царь достоин, и пошли тузить Тиграна Горыныча без прежней обходительности. А змею и это – в приятность, он уже кверху брюхом лежит, от ощущений визжит.

Тут гром на небе грянул и дождик припустил.

– Ну вот, – говорит Горшеня, – и ополоснуться подали! Значит, всё правильно.

Выбрался он на берег, от усталости шатается.

– Эй, – кричит, – лесной народ, айда всем мыться, пока вода ещё не остыла. Царя-руководителя почистили, теперь и всем пообновиться не мешает.

Едва договорил – тут же с ног и свалился от усталости под куст на свою одежду, да прямо голый заснул. Тигран Горыныч, шатаясь, выбрался на берег, свалился рядом и тоже захрапел. Все лесные жители тотчас кинулись в озеро, полезли мыться-купаться. Ух и визгу было, ух и рёву: лес такой толчеи никогда ранее не видывал!

Посреди ночи, когда снился Горшене седьмой сон, самый сладкий, кто-то растормошил его, сбил эту сладость и долго тискал в руках мужицкие плечи. Горшеня просыпаться не хотел, отнекивался сколько мог, потом всё-таки приоткрыл левый глазок и с большим трудом узнал в побудчике Ивана.

– Горшеня, друг, – шепчет Иван ему в лицо, – пора нам утекать, самое время! Не ровён час, утро зачнётся, тогда не сносить нам голов!

– Постой, – кривится Горшеня. – Куда бежать? Зачем бежать? Ты чего, Ваня, надумал?

– Вот ведь! – расстраивается Иван. – Проснись, друг ситный! Горыныч нас съест утром, коли мы сейчас не утекём!

Горшеня отмахнулся от приятеля, мешок под головой поправил.

– Нешто я утекать буду, – бубнит, зеваючи. – Я ещё опосля работы не отдохнул как следует. Отдых для работника – святое дело...

И обратно укладывается. А Иван не даёт ему успокою, за рубаху тянет.

– Горшенюшка, пёс тебя укуси! Очнись, дурень!

Горшеня приподнялся, посмотрел на Ивана всерьёз серыми своими глазами и губой смакнул: дескать, не тревожь души-тела! И лёг опять.

– Ну знаешь, – обиделся Иван. – Ты, я вижу, и впрямь справедливость свою испытать хочешь, в самое пекло лезешь, чтобы её за хвост уцепить. Воля твоя, только я к тебе в поделёнки не нанимался, мне эти экперементы не по душе. Я ещё пожить хочу, у меня ещё дело есть важное. А в бессмертности своей я не уверен, так что...

– Иди, Вань, поступай, как знаешь, – отозвался Горшеня из полудрёмы. – Я, правда, Вань, спать очень хочу...

И захрапел в свист.

12. Царский завтрак

Утро наступило, холодком о себе знать дало.

Открыл Горшеня глаза, глядит: туман вокруг озера вьётся, влагой всё пропитывает. Накинул мужик рубашку, штаны натянул, а сам головой вертит – ищет, нет ли где поблизости Ивана. Зверья кругом всякого разного спит вповалку видимо-невидимо, а человека не найти; знать, утёк дорожный товарищ, не выдержал.

А это что за гора сквозь туман порциями просачивается? Горшеня аж присвистнул: да ведь это Тигран Горыныч лежит! И никакого мерзкого запаха от него не исходит! Горшеня приблизился к телу, упёрся носом в змеиный бок и изо всех сил воздух в нос втянул. И ничего – вполне сносно! От удовлетворённости ли, от занюха ли – чихнул Горшеня всладость! Так чихнул, что всю орду звериную разбудил. Змей – и тот заворочался, застонал, зевнул сильным ветром и слипшиеся глазищи растопырил.

– Утро доброе, – говорит ему Горшеня. – С лёгким парком, твоё лесничество.

Тигран Горыныч глядит на Горшеню, хвостом туман разгоняет, вчерашний день припоминает в подробностях. Морда у него довольная, вид – жениховатый, в глазах перспектива светится; хорошо себя чувствует змей после давешних водных процедур. И Горшеня ему в ответ улыбается, налюбоваться на отмытого царя не может.

А воздух вокруг чистый – хоть горстями за пазуху клади!

Тут и туман рассеялся, лесные твари в себя пришли, все друг на дружку глядят, гомонят, диву даются, царя своего только по размерам опознают. А у Горшени уже другая забота: подошёл он к озеру, смотрит на него и в затылке тоскливо чешет.

– Да, – говорит, – озерцо-то мы того... испоганили, право слово.

И правда: в озере вся вода теперь в таком непотребном состоянии, что стыдно смотреть. Тигран Горыныч туда же взглянул – аж озноб по полосам его тигровым пробежал.

– Ну ничего, – говорит, – после завтрака и озеро вычистим.

– Ах да, – говорит Горшеня. – Отвлёкся маленько, виноват. Стало быть, уже прямо сейчас, твоё лесничество, завтракать соизволишь?

– Да чего уж там откладывать, – зевает змей, – почитай, всю ночь не ел!

– Как скажешь, твоё лесничество, – кивает Горшеня, – как скажешь.

Вышли из кустов еноты – вынесли шесть кадушек с солёными грибочками. Горшеня носом повёл, в кадки те глянул – один к одному рыжики да маслята! Объединение!

– Годится? – спрашивает его змей.

– Годится, – вздыхает Горшеня. – Компания подходящая, все из земли выходцы.

– Погоди-ка, ветелинар, – шарит свежим взглядом звериный царь, – а второе где?

Горшеня прикинулся, что ничего не понимает.

– Ась? – говорит. – Какое такое второе?

– Дружок твой Иван где? Утёк?

И такой сердитый у Тиграна Горыныча взгляд сделался, что медведь-воевода тут же прибежал к нему безо всякой на то команды – просто учуял, что дело выговором пахнет. А всё опять же потому, что воздух кругом чистый и никто посторонних запахов не издаёт.

– Где?! – кричит Тигран Горыныч сразу и на Горшеню, и на воеводу своего (и сокрушается в сердцах, что голова у него только одна на такой случай). – Что вы устались на меня, как мотыли на финик! Где, я спрашиваю, эта моя вторая порция?! Кто стырил?! Кто упустил?!

Потап Михалыч сдрейфил не на шутку – подумал, что сейчас придётся ему своей тушей прошляпленный недовес восстанавливать. А Горшеня хоть и не сдрейфил, но тоже нехорошее подумал – что все его вчерашние труды по установлению мостов пошли теперь насмарку. И вот,

едва они успели об этом подумать, как кусты орешника вдруг раздвинулись и вышел на поляну Иван. Поправил на себе пояс, заспанные глаза кулаками протёр, осмотрелся.

– Прости, – говорит, – твоё лесничество. Сморился от такого чистого воздуха, чуть завтрак не проспал.

Выдохнул медведь-воевода. И Горшеня тоже вздохнул с облегчением.

А Тигран Горыныч брови нахмурил, подгрёб лапой Ивана к грибок поближе и свежим вымытым пальцем завтраку своему пригрозил: дескать, не балуй, еда!

Ну вот уже и до самой трапезы дело дошло.

Только какая-то загвоздка в воздухе повисла, что-то предзавтрачная пауза слишком затянулась. Всё подданное зверьё приготовилось, выстроилось в беспорядочные ряды. Ждут животные, когда же начнётся приём пищи, потому как надеются, что царь не всё сам съест, а выдаст и им по кусочку, по косточке, на общих основаниях. Волк давешний ближе всех к затрапезной территории трётся. Медведь-воевода его боком своим к периферии отжимает – мол, не лезь поперёд батки! Даже рысёнок, который Горшеню с Иваном так ловко сосчитал, – и тот в первых рядах шарится, кисточки на ушах наострил, готов, если надо, ещё что-нибудь сосчитать. И всё, кажется, готово, а звоночка всё нет. Змей озадачен чем-то, что-то у него в башке состыковаться не может.

– Да... – хрипит он как-то растерянно, не по-царски даже, а по-простецки, по-змеиному.

А Иван и Горшеня стоят совсем бледные, плечами друг друга едва удерживают – им-то кажется, что змей уже утробное шипение издавать начал, что какие-то желудочные операции у него в чреве начались и продолжение сейчас последует при непосредственном их участии.

Горшеня перекрестился украдкой, ладанку свою нагрудную поцеловал. Иван же просто в небо смотрит. Красиво-то небо весеннее: стрижи, скворцы, облака... «И действительно, – думает он, – распрекрасная штука – явь!»

Но вот Тигран Горыныч откашлялся, на заднюю точку присел, передние лапы сложил на груди – вид принял величественный.

– Вот что, – говорит. – Слушай меня, животный мир, слушай и ты, одушевлённая природа. Важное слово сказать хочу. Поскольку мы есть единоличный царь зверей, птиц, насекомых и пресмыкающихся в пределах нашего Лесного царства, то и слово мое есть уважаемо и весомо для каждого живого существа...

И снова закашлялся – видно, нелегко змею это весомое слово произнести.

– Кхе-кхе... существа... По существу. Вчера, – продолжает с натугой, как помочь тянет, – обещал я этим мужикам, блюдам моим царским, в качестве, так сказать, поблажки за организованный ими всеобщий банный вечер жевать их вползуба, не шибко, то есть, пережёвывать. Вот как...

Потянул время, молчанием потомил.

– Но теперь, – продолжает, – взятой мною властью я это самое решение... того самого... отменяю, в общем.

Иван на Горшеню глянул рассерженно: мол, доигрался, друг ситный! Кому поверил – гаду полосатому! А Горшеня пока ничего лицом не выражает, только пота немножко на лоб выпустил да бровью контуженной подёргивает: ждёт дальнейшего.

– Тьфу ты, пропасть корявая! – серчает на себя змей. – Зажарил меня этот царский слог, всю душу выпытал! Я по-простому, хлопцы, скажу, без политесностей: не буду я этих путников жевать вообще! Есть я их не буду! Не хочу! Аппетиту, как говорится, не прикажешь! Пускай идут себе по всем четырём направлениям.

Сказал – и глазами всех подданных обводит: кто, мол, чего возразить имеет, кто одобряет, кто сомневается? А животные смотрят на Тиграна Горыныча с раболепием, но понима-

юще. Только молчат, не знают: шутит их голова или всерьез раздобрился. Тут Горшеня махнул ребром ладони – разрубил затянувшуюся паузу.

– Это, – говорит, – ты правильно решил, твоё лесничество. Чем непережёванное-то глотать, так лучше вообще без завтрака обойтись. Оно для желудка в сто раз полезнее будет и душе – отрада.

– Мало того, – подхватил ему в тон Тигран Горыныч, – я этим мужикам ещё и спасибо говорю и благодарность объявляю в специальном указе! За лёгкий пар и перемену, так сказать, окружающей атмосферности!

И чуть даже голову склонил в Горшенину сторону. А потом и на Ивана посмотрел без прежней ненависти.

– И тебе, Иван, спасибо. Папаше своему передай, что хоть он и есть крючок якорный и бабья тычинка, но у меня отныне к нему полное безоговорочное перемирие.

Вот уж чего-чего, а такого Иван не ожидал! Даже челюсть у него хрустнула в скулах от удивления.

– Благодарствую, твоё лесничество, – говорит, кланаясь.

А змей как завопит на всю равнину зычным басом – шишки с сосен так и посыпались.

– Э-э-эх, ребята! Если б не те семь подлых Семионов, всем бы людям нынче амнистию объявил бы – такая во мне образовалась весёлость и доверие к завтрашнему дню!

Горшеня на радостях лишнее ляпать стал.

– А я, – говорит, – с самого начала, твоё лесничество, догадывался, что в завтраки к тебе не схожусь. Я ж из мужиков простых, салом не мазан, сахаром не сыпан – какой из меня завтрак! Несварение одно. Да и товарищ хрящеват немного – безоружным глазом видно...

Иван по-всякому друга останавливает, чуть в рот к нему ладошкой не залез, а тот знай треплется:

– Ясное дело, – звенит языком, – недостойны мы, твоё лесничество, твоего царского меню. Кто мы есть в сравнении с ним? Одно слово – гонсервы.

– Нет, ветелинар, – возражает Тигран Горыныч. – Ты цены себе не знаешь! Ты мне такой праздник обстригал, что и словом человеческим не выразить, – только рыком звериным да птичьим посвистом! Достоинства у тебя все налицо, любой царский стол разукрасишь!

– Не разукрашу, – отмахивается Горшеня, – с меня красы, что с хомяка колбасы.

– Зачем так говоришь! – возмущается змей. – Разукрасишь – ещё как! И не перечь мне!

– Не разукрашу! – чуть ли не кричит Горшеня.

– А я говорю – разукрасишь!

– А я говорю – не разукрашу!

– А вот посмотрим! – грозит Тигран Горыныч. – Я скоро свадьбу играть буду – вот тогда милости прошу обоих к столу пожаловать.

– Это зачем же? – Горшеня вдруг как-то обмяк, опомнился. – Это в каком же качестве, твоё лесничество?

Змей как принялся хохотать – все спящие совы проснулись, глухари оживились, «Ась?» – переспрашивают.

– Да уж не в качестве праздничного обеда! – брызжет змей, всей своей тушей колеблется. – В почётном качестве, гостевом!

Иван с Горшеней выдохнули облегчённо.

– А позволь, твоё лесничество, уточнить сроки, – молвит Горшеня, – когда ж ты жениться собираешься?

– Да скоро уж, – отвечает Тигран Горыныч, – как только невесту подберу, так сразу и женюсь на ней.

– Ну тогда дело за малым, твоё лесничество: осталось только невесту сыскать.

– За невестой дело не станется, – всё больше горячится змей. – Я теперь жених хоть куда – кипяток с клюквой! Все невесты в округе теперича мои! Я им ещё смотр конкурсный произведу, со всякими заданиями, с эстафетой! Самую достойную выберу и буду её любить до полного обоюдозаимного самозабвения, – вытянул Тигран Горыныч шею и орёт благородным звериным голосом: – Эй, грачи, царские трубачи! Летите во все лесные закутки, сообщите всем лесным жителям, что я жениться собираюсь!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.